

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Николаевич Леонтьев

Культурный идеал и племенная политика

«...Индивидуалистическим называется общественный строй ведь тогда, когда этот строй имеет в виду преимущественно права и выгоды всех *отдельных лиц*, равноправность всех граждан перед законом или государством. *Государство* и *лица* – только! Ни определенных сословий, ни каких-нибудь малоподвижных, огражденных законами корпораций, конгрегаций, цехов, общин – одним словом, никаких посредствующих ступеней власти и давления *на лица* между общей массой граждан (*индивидуумов*) и государством.

При таком строе – смешение классов, подвижность *слоев* и *кругов* общественных становится так велика, что *лицам* нет почти возможности выдерживаться долго в сословной или общинной окраске своей.

Индивидуально нередко и весьма энергические люди, при долгом существовании такого (индивидуалистического) строя, сохраняют в личности своей почти одни физиологические особенности. Особенности же сословной, религиозной, провинциальной, общинной, цеховой и т. п. окраски и выработки при таком строе скоро пропадают...»

Содержание

I-II	0005
III	0018
IV	0044
V	0080
VI	0109

**Константин Николаевич
Леонтьев**

**Культурный идеал и
племенная политика. Письма
г-ну Астафьеву^{1}**

<Начало отсутствует⁽²⁾>
 ...что sapiens⁽³⁾ Астафьев – на этот раз больше моего виновен.

И, однако, несмотря на этот тихий и глубокий шепот моего самолюбия, я у этого погрешившего магистра философии готов опять взять урок и очень рад повергнуть на его благоусмотрение и доброжелательную критику мой следующий за сим краткий и слабый терминологический труд.

Осмеливаюсь думать, что слова «*нация, национальность, национальный идеал, национальное начало и национальная политика*» – никак не одно и то же.

Даже между выражениями *национальность* и *национализм* – я нахожу – значительный оттенок.

В «pendant»⁽⁴⁾ к этому возьмем и другое слово. *Лицо; личность; личный идеал; личное начало; личная политика.* Все это также большая разница.

Или возьмем то же, но не с русским, а с ла-

тинским корнем. *Индивидуум; индивидуальность; индивидуализм; индивидуальный идеал; индивидуальное начало; индивидуальная политика.*

Возьмем для примера какое-нибудь *лицо*, положим, императора Вильгельма II. В нем есть *личность* (или: *индивидуальность* его выразительна) – у него есть *личный* (свой) *идеал*; он хочет вести политику *личную, индивидуальную*, ему *индивидуально-свойственную*; т. е. не желает зависеть ни от *сильной индивидуальности* Бисмарка, ни от *индивидуализма* общелиберального строя (от парламента, например, как его высшего выражения). Индивидуалистическим называется общественный строй ведь тогда, когда этот строй имеет в виду преимущественно права и выгоды всех *отдельных лиц*, равноправность всех граждан перед законом или государством. *Государство и лица* – только! Ни определенных сословий, ни каких-нибудь малоподвижных, огражденных законами корпораций, конгрегаций, цехов, общин – одним словом, никаких посредствующих ступеней власти и давления *на лица* между общей массой

граждан (*индивидуумов*) и государством.

При таком строе – смешение классов, подвижность *слоев* и *кругов* общественных становится так велика, что *лицам* нет почти возможности выдерживаться долго в сословной или общинной окраске своей.

Индивидуально нередко и весьма энергические люди, при долгом существовании такого (индивидуалистического) строя, сохраняют в личности своей почти одни физиологические особенности. Особенности же сословной, религиозной, провинциальной, общинной, цеховой и т. п. окраски и выработки при таком строе скоро пропадают. Вследствие этого личность, не слабея еще вдруг со стороны воли и энергии, слабеет скоро со стороны множества разных других особенностей. *Люди становятся все сходнее и сходнее между собою*. В них более и более уничтожается прежняя *индивидуальность*; слабеют *идеальные* (или *идейные*) ее отличия; остаются одни отличия темперамента и, до поры до времени, отличия образования (степени сознательности?). Поэтому-то, если кто-нибудь скажет, что (во Франции, например) *индивидуализм*

погубил индивидуальность, это не будет только красивой фразой, а весьма важной истиной, стоящей самого серьезного внимания.

Точно такие же извороты терминов одного корня весьма полезны и, мне кажется, даже необходимы, когда дело касается до чего бы то ни было национального.

Позвольте мне объясниться по-своему, объясниться так, как я объясняю все это сам себе для моего собственного умственного обихода. «Академической» какой-нибудь правильности, пожалуйста, не ищите, а только ясности и доступности.

Во-первых, *сама* «нация». Не стану объяснять. Это и так слишком наглядно. Это почти физическое представление. Знаешь немножко географию и этнографию; знаешь, где живет народ; знаешь, на каком языке он говорит; воображаешь немедленно и невольно знакомые физиономии людей этой нации. Нация – это сама *вещь*; термин «нация» соответствует самому конкретному из всех представлений, принадлежащих к разбираемому порядку.

Национальность понятие более отвлечен-

ное. Это какой-то *идос*[1] – той нации, которую мы только что воображали себе *во плоти*.

Когда мы говорим: русская национальность, французская, китайская, то мы вспоминаем о таких общих качествах или признаках, которые более или менее свойственны всем людям, составляющим эту нацию (или хотя бы большинству их), *и совокупностью* которых эта нация *отличается от других*.

Чем эти признаки резче, чем эта совокупность их выразительнее, тем более в нации *национальности*, т. е. особенности, своеобразности, оригинальности. *Национальный идеал* (политический, культурный, религиозный) – это опять иное.

Национальность данной нации – это, скорее, то, что уже есть у нее теперь налицо совокупность признаков существующих, историческим развитием уже приобретенных.

Национальный идеал – это совокупность национальных признаков еще не приобретенных; это представление той же нации в будущем ближайшем или отдаленном. Поэтому-то и случается так часто, что граждане,

вполне согласные относительно того, какими признаками надо определять или обозначать в настоящем ту нацию, к которой они принадлежат, – в отношении идеала вовсе расходятся.

Например. Все будут согласны в том, что в настоящем православное самодержавие есть главный отличительный признак русской национальности в ее прошедшем и настоящем. Именно православное самодержавие, а не просто самодержавие и не просто Православие. Самодержавен и шах персидский в среде своей нации; православна и конституционная Греция. Но относительно будущего, и ближайшего и дальнейшего, – относительно *идеала* для нации, сейчас же явится разногласие; одни желают конституции; другие справедливо считают ее гибелью для России; одни готовы даже ценою жизни своей заплатить за сохранение нашей монархической власти во всей ее полноте; но на религию православную смотрят разве только снисходительно, как «на узду для народа»; сами же равнодушны к вере. Одни желают строгой неотчуждаемости крестьянских земель и сохранения по-

земельной общины; советуют даже обратить все крестьянские земли в вечную государственную, неотчуждаемую собственность[2]. Одни (как, например, покойный Катков и последователи его) довольны петровскими порядками в церковном управлении; другие порицают эти порядки и желают для Церкви большей независимости и т. д.

Вот какая большая разница между словами *национальность* и *национальный идеал*, которыми Вы нашли одинаковую возможность заменить мой специальный термин – *национальная политика*.

Национальность – это идос, идея, скрытая за тем реальным и конкретным физическим явлением, которое мы зовем нацией. Она *одна и та же* для всех, способных мало-мальски к сознанию того, что они видят.

Изменяющиеся в течение веков признаки этого идоса – этой окрашенной тени действительной нации – достаточно все-таки устойчивы, чтобы люди самые различные, по складу ума и по стремлениям непримиримые, но современные друг другу – могли бы легко схватывать эти признаки и видеть их одина-

ковыми для всех умов, даже и при крайне неодинаковом отношении к ним сердца.

Национальный идеал – это различное субъективное представление разных граждан об идее будущей реальной нации. И когда коснется до этого представления, то согласить вполне в *теории* даже и близко подходящих друг к другу людей иногда трудно. Всех соглашает *умственно* только неволя исторического развития, практика государственно-культурной жизни.

Мимоходом и тут вопрос: «На что же именно я нападаю – на неясный еще идеал будущего или на ясную картину настоящего?» Желал бы для собственной пользы понять. Мне кажется, что если я готов нападать на что-нибудь подобное, то скорее уж на современное состояние русской нации *за то, что она, наша нация, еще недостаточно национальна*, за то, что она мало еще освободилась от общезападных идеалов. Я готов нападать (и при случае и нападаю) на нашу современную национальность; *но не иначе как во имя идеала гораздо более национального, более яркого и полного, более своеобразно оформленного, чем*

всем нам известная жизнь России в конце XIX века, на три четверти еще западная.

Остаются еще термины: *национальное начало*, *национализм* и *национальная политика*.

О слове «начало» можно сказать только, что оно из всех приведенных названий есть самое широкое (если не ошибаюсь?), самое отвлеченное.

Его можно приложить ко всему, касающемуся до нации. Выражение «национальное начало» – именно потому, что оно есть начало, принцип, – приложимо и к физиогномии нации, и к политике ее правительства, и к патриотическому идеалу граждан. И к более неподвижному (национальность), и к более изменчивому (политика).

Поэтому углубляться более в это определение (слова «начало») я боюсь. Боюсь переступить за черту области мне доступной, в область Вашу, в ту область, где я уже никогда более не увижу ни живых образов, ни даже их теней, а только все какие-то мысленные нити и нити, без конца извивающиеся. И в паутине этих высших отвлечений я скучаю, теряюсь и даже опасаясь сказать глупость на

каждом шагу.

Если же не углубляться, то и это страшное слово «начало» будет довольно понятно; именно как прилагаемое ко всему в определенной сфере мышления.

Теперь слово «национализм». Какая разница между словами «национальность» и «национализм»? Помните, как в Москве один весьма известный русский философ определял эту разницу? «Папство и папизм; индивидуальность и индивидуализм»⁽⁵⁾. Первые слова с русским окончанием, по его мнению, обозначали хорошую меру известного начала, проводимого в жизнь; вторые слова с греческим окончанием – вредный избыток того же; злоупотребление этого начала, пожалуй что и доведение его до абсурда, до самопожрания.

Меня не особенно такое объяснение удовлетворяет; но, конечно, можно и так понимать эти слова, по крайней мере, во многих случаях.

Меня больше удовлетворяет мое собственное понимание.

Национальность – это отвлечение от *нации*; ее мысленная и окрашенная воображе-

нием тень, ее отражение в уме и воображении нашем.

Национализм – это, скорее, какое-то *движущее, действующее начало*, действующее *во имя* этой тени.

Можно ведь сказать: «страстный национализм такого-то человека»; «крайний национализм такого-то правительства».

Но неловко выйдет, если мы скажем: «страстная, фанатическая национальность его». Или: «крайняя, опасная национальность такого-то правительства».

Мы не говорим даже: «резкая национальность китайцев», а «резко *выраженная* национальность китайцев».

Я думаю даже, что «национализм» и «национальное начало» – это все равно; все равно в том смысле, что оба эти выражения можно употреблять в одинаковых случаях, по вкусу заменяя одно другим.

Но нельзя слово «национализм» заменять ни словом «национальность», ни выражением «национальный идеал». Будет сбивчиво.

Осталось одно последнее мое собственное выражение⁽⁶⁾ – «*национальная политика*».

Но прежде чем поговорить еще раз о ней самой, т. е. о самой политике, я должен сознаться, что и я сам в термине тут немного ошибся. *Не так удивительно*, как ошиблись Вы, но все-таки ошибся.

Точнее бы было выразиться – политика *национальностей* («la politique des nationalites») или *племенная* политика. Тогда было бы яснее, что я, охраняя и защищая национальности и национальные идеалы в их обособленности, опасаясь все большего и большего разлития космополитизма, указываю на *племенные объединения и освобождения* как на игру весьма обманчивую и опасную для яркости и обособления национально-культурных физиономий и национально-культурных идеалов.

И хотя о русской политике я сказал только два слова в конце книжки, указывая из примеров других наций и племен на опасности опрометчивого панславизма, но разумеется, что главным образом я имел в виду Россию и охранение ее национальных особенностей, ее национального идеала, которому я по-прежнему готов служить, как могу и как умею.

Вина моя была в том, что я, желая быть более доступным, придерживался термина общепринятого, вместо того чтобы употребить свой собственный – *политика племенная*.

Термин «национальная политика» – довольно бестолковый, и его можно приложить к вещам весьма различным.

Употребляют его нынче многие, думая, что все понимают под ним одно и то же, но если потребовать от них живых примеров, то примеры нередко выйдут совсем противоположные.

Об этих примерах я поговорю дальше.

В самом деле – как понимать это выражение «национальная политика»?

Может быть, национальная политика значит просто – политика независимая, твердая; пожалуй, даже несколько надменная в своей патриотической самобытности?

Или, быть может, нужно придавать этим словам «национальная политика» значение более глубокое – подразумевать под ними поддержку тех *главных* (религиозных) *основ*, на которых утверждена национальная жизнь? Везде; и у себя внутри, и за пределами – в чужих государствах? Таким образом, для султана национальной политикой была бы поддержка везде, где можно, мусульманского элемента, не только у себя, но и в Индии, в России, в Африке; для России – поддержка Православия повсюду; для Франции, Италии, Испании, Австрии – католицизма?

Или же, отбросив оба эти определения, не вернее ли будет понимать под этим названием ту политику, которая имеет в виду по преимуществу *язык и племя*? Во *внешних* делах

тот род политических действий, который ищет освободить от чуждой власти народы, родственные по языку и племени и сгруппировать их в одну государственную систему; а во *внутренних* делах государства *неоднородного* стремится дать преобладание языку и учреждениям того племени, к которому принадлежит большинство граждан и само правительство.

При этом ничуть не разбирая того, действительно ли то или другое учреждение самобытно и национально по происхождению, или оно чужое, подражательное (как, например, наши нынешние либеральные европейские суды присяжных).

Или еще. Не считать ли в этом вопросе важным для *нации* не само господствующее племя и даже не язык его, а *совокупность* всех тех культурных признаков, которыми отличается эта нация от других. Какие же это признаки? Прежде всего – опять-таки те же религиозные отличия; потом резкие отличия в государственных учреждениях и, наконец, если возможно, то и внешнебытовые отличия (которые вовсе не так уж *внешни*, как многие ду-

мают, а имеют глубокое *психическое* значение)[3].

И таким образом, считая *культурные* (идеальные) отличия более существенными для национальной жизни, чем признаки *физиологические* и *филологические*, принимать за *истинно национальную* политику не столько ту, которая способствует распространению и преобладанию и внутри, и вне известного племени с его языком (или с родственными ему), сколько ту политику, которая благоприятствует сохранению и укреплению стародавних культурных особенностей данной нации и даже *возникновению новых* отличительных признаков (разумеется, естественно подходящих к среде, способных привиться к ней).

По моему мнению, только последняя (культурно-обособляющая) политика и заслуживает названия *истинно национальной*; а не та *племенная*, о которой шла речь в моей брошюре. Первая *верна* и *охранительна*; последняя революционна (т. е. космополитична) и обманчива.

Но не буду спешить. Вернусь назад и обращусь к примерам.

Определение первое – не годится. Политику самую твердую и независимую, государственно-патриотическую в высшей степени и вовне, и внутри, еще нельзя назвать *национальной* – только по «этому».

Такова была, например, политика Петра I, но кто же назовет ее *национальной*? Она была в высшей степени *государственна* для своего времени, но при этом *антинациональна* почти во всем; за исключением разве *сословного дела*, ибо это сословное дело, несмотря на немецкие *названия*, было *само-то* поставлено совершенно по-русски. Нечто вроде искусственного завоевания для глубокого подчинения низших классов высшим, и высших государству (см. Пазухина⁽⁷⁾ и Данилевского⁽⁸⁾).

Другой пример. Австрийская империя в свои прежние счастливые дни не раз вела такую твердую и государственно-патриотическую политику; но ни в какую эпоху своего существования она даже и не могла вести политики *национальной* – уже потому, что австрийской *нации* никогда и не было, а было только издавна Австрийское *государство*.

Третий пример. Политика Государя Нико-

лая Павловича была и вовне, и внутри тоже очень твердой, независимой, патриотической; иностранцы нередко находили ее даже надменной. Но была ли она *национальна* в каком бы то ни было смысле? Конечно, нет. Никто и его политику не назовет *национальной*, ни в обыкновенном смысле, *славянско-племенном*, ни в моем, в смысле явного стремления *обособить* как можно более Россию от Запада в отношении *духа* цивилизации и в отношении *нравов*. Николай Павлович, видимо, довольствовался тем, чтобы Россия была самым сильным из *европейских* государств. Мысли об *общеславянских* сочувствиях, о будущем панславизме, равно как и мечты о *культурном* своеобразии самой русской жизни, едва-едва проглянули тогда на свет Божий, но и в этом виде первых всходов они показались опасными строго консервативному императору. Эти две стороны дела, в сущности весьма различные и в наше время уже легко отделимые (не только в теории, но и на практике) – *культурное своеобразие России* и *всеславянское единство*, – были в то время в славянофильском учении смешаны и спута-

ны еще более, чем теперь. И вероятно, не веруя серьезно в возможность первого (своеобразия) и справедливо считая второе («политический» панславизм) стремлением либеральным (т. е. разрушительным), Государь Николай I преследовал и то и другое разом – в лице славянофилов. Первые провозвестники *собственно национального* дела в России в обоих смыслах (культурном и племенном), специалисты этого вопроса, не могли поэтому считать политику этого великого монарха *национальной*. Они, славянофилы, сверх того, жаловались неоднократно на то, что при Николае Павловиче правительство наше и во внешних делах слишком потворствовало немцам, и в самой России было к ним «слишком» благосклонно. И. С. Аксаков в <18>57 году, *при мне*, в крымском имении покойного Осипа Николаевича Шатилова, говорил так: «Остзейские бароны и другие *наши* немцы внушали покойному Государю следующую мысль. Для коренных русских нация русская, русский народ дороже, чем Вы. Нам же нет дела до русской нации; мы знаем только Вас, *Государя* – вообще. Мы не русской нации «хотим»

служить; мы своему Государю хотим быть верными. Но так как наш Государь есть в то же время и российский император, то, служа Вам верой и правдой, мы служим «России». Аксаков находил, что эта постановка вопроса ложная и вредная для России; ибо русский народ доказал на деле *не раз* свою «*потребность*» в *самодержавии* и без всяких немцев. Привожу я здесь этот исторический разговор не для того, чтобы разбирать, чей взгляд правильнее, взгляд Аксакова или взгляд остзейских баронов, а только в виде «живого» примера тому, как смотрели славянофилы на дух *правления* императора Николая. Они не находили его *национальным*, хотя и чрезвычайно чтили в императоре то, что он за границей «держал знамя России *грозно*».

Итак, политику патриотическую, твердую и даже «грозную» нельзя еще назвать ни в каком смысле *национальной*, ни в культурном, ни в племенном.

Обратимся к моей второй попытке определить *истинный* смысл того, что зовется *национальной* политикой.

Политика религиозных *основ* называется

или нет когда-нибудь *национальной*?

Да – иногда как будто называется; а иногда нет.

Обратимся опять к примерам.

Восточное Православие, независимо от своего прямого и *личного* религиозного смысла, который может быть *открыт* человеку всякого племени и подданному всякого государства, имеет для России еще, сверх того, и особый смысл *национально-государственный* и *национально-культурный*. Национально-государственный потому, что Православие есть для большинства русских граждан главная связующая их воедино духовная сила; воедино – от царя и знати до нищих и даже каторжников (см. хоть «Мертвый дом» Достоевского). Национально-культурный смысл потому, что при недостаточно самобытной выработке у нас всех других отраслей жизни восточное Православие есть самый основной, резкий и глубокий национальный *признак*, отличающий и отделяющий нас и от западных, и от восточных (иноверных) соседей наших. Ибо умоляю – не забывать, что слово *культура* я, последуя Данилевскому, понимаю не просто

как *цивилизацию*; а как цивилизацию *особую*, как особый вид развития *жизни* и *сознания*; цивилизацию «*поэтому*» менее выработанную и менее богатую плодами, чем другая, но более ее *своеобразную*, поэтому надо считать более *культурной* (типичной), чем <вторую>: тибетскую более бельгийской, персидскую более современной испанской и т. д.

Кроме всего этого, восточное Православие имеет для нас еще и *третье*, весьма важное значение; оно есть еще, сверх того, и *внешне-политическая* сила в наших руках, благодаря существованию на юго-востоке Европы *четырёх тоже* православных наций⁽⁹⁾, небольших и несильных, но в совокупности своей имеющих в политике значительный вес. Этот вес удваивается еще и важными географическими условиями их положения.

Одним словом, употребляя любимое выражение И. С. Аксакова, можно сказать: Православие есть *сущность* русской народности. Можно ли против этого спорить? Конечно, и самый злейший враг Православия должен с этим аксаковским положением согласиться.

Поэтому казалось бы самым естественным

делом назвать национальной ту политику, которая не только в пределах своего государства, но и за пределами его поддерживала бы именно эту народную сущность во всех ее проявлениях?

Однако, когда в <18>60 и <18>70-х годах все более и более распалась распря между Вселенским патриархом и болгарской частью его паствы, национальной политикой считалась в России не защита одного из главных духовных представителей Православия (этой сущности русской национальности), а поддержка бунтующих против него и канонически неправых болгар.

Главные два проповедника национальной у нас политики, Катков и Аксаков, оба были до конца жизни своей на стороне сродного племени и против иноплеменных представителей – нашей духовно-культурной сущности.

И не только публицисты наши, но и само тогдашнее правительство, в лице гр<афа> Игнатьева, кн<язя> Горчакова и гр<афа> Дм<итрия> Ан<дреевича> Толстого (бывшего в то время обер-прокурором Св<ятого> Синода), вело тогда нашу политику в смысле племенном,

а не в смысле поддержки церковных *основ* нашей народности, не в смысле аксаковской «сущности».

И все называли тогда *такую* политику (племенную) – а не обратную – *национальной*. Тех же немногих, которые были *богобоязненнее* «или искреннее» Каткова и дальновиднее Аксакова (Т. И. Филиппова, Н. Н. Дурново и меня), – звали *греками, фанатиками-фанаритами*, представителями «казенного» православия⁽¹⁰⁾ и т. д.

Итак, в этом случае выражение «национальная политика» означало не политику *религиозно-национальных основ*, а политику *племени*, племенную, и вместе с тем *противоосновную* (революционную).

Возьмем и еще пример – иноземный. Католицизм и для большинства французского народа, и для итальянского сплошь был издавна такой же религиозной основой (или «сущностью»), какой было и есть Православие для России.

Кто же вел лет 30–25 тому назад *национальную* политику по отношению и к итальянскому *единству*, и к итальянской *эманси-*

пацци от «тедесков и попов»^{11} (как говорилось тогда) – Франция или Пьемонт? И Пьемонт, и Франция. Пьемонт выиграл, Франция проиграла. Пьемонт выиграл потому, что шел *«преднамеренно»* и *прямо* по пути *противоосновному*, революционному, т. е. по тому пути, по которому все шло (и все пока идет *еще* и *теперь* в XIX веке).

Пьемонт шел открыто против католичества, против своей *вековой религиозной основы*. Французские государственные люди ошиблись и проиграли дело, ибо, не понимая (как не хотите понять и Вы, г-н Астафьев) всей глубокой революционности *племенного* начала в международной политике, они надеялись одной рукой поддержать папство – в то самое время, когда другая рука их будет способствовать созданию единства либерально-племенной Италии.

И Франция, и Италия обе вели тогда именно ту политику, которая обыкновенно зовется национальной, и обе пришли к результату – *противоосновному*, «к потрясению» папства; обе пожали революционные плоды: Италия *преднамеренно* и *прямо*; Франция *неожидан-*

но и против воли своей.

О Германии и говорить нечего; у немцев, если взять их всех вместе и с австрийскими, — нет одной общей *религиозной основы* или «сущности»; католиков немного разве менее, чем протестантов; не говоря уже о том, что один ревностный католик по силе своей равняется, по крайней мере, трем протестантам. В Германии национально-государственное дело является с этой стороны чисто *племенным, вне религии стоящим*. И чем это дело будет более оконченным (после присоединения и австрийских немцев), тем оно станет более *безосновным* в религиозном отношении, тем сильнее выразится чисто *племенной* характер германского национального единства.

Уже и теперь император Вильгельм II в недавней речи своей офицерам сказал:

— Необходимо поддерживать в солдатах религиозное чувство; но при этом обращать внимание не на *различие догматов*, а на *нравственную сторону* дела.

Куда это ведет? Ведь и Робеспьер заботился о *Верховном Существо* и о *чистой этике*!

Однако – за блестящий образец вполне *национальной* политики считается германская политика последнего 30-летия. Франция послужила политике племенных *национальностей* во вред и на гибель себе. Италия и Германия послужили, самим себе на славу (до поры до времени), этой самой *национальной* политике. Их политика уже всеми называется прямо *национальной*.

* * *

Еще два-три слова.

Г-н Астафьев – философ, и потому он обязан быть хорошим терминологом. Но политическая терминология в его заметке мне не кажется особенно удачной (счастливой).

Из брошюры моей[4] он должен был видеть, что я слово *революция* понимаю по-прудонски, т. е. я называю *революцией* то стремление обратить всех людей в *среднего европейца* или тот *процесс всеобщей ассимиляции*, которые Прудон считает *истинной целью* человечества на земле и которые так ужасают Дж. Ст. Милля и Герцена.

Такой революции (т. е. ассимиляции) служат не одни мятежи, цареубийства и восста-

ния, но и самые законные демократические реформы, и всемирные выставки, и однообразие обучения, и однородные вкусы и моды, и равнодушие в деле религии, и даже все изобретения ускоренного обращения.

Если это мое широкое понимание слова «революция» показалось г-ну Астафьеву неправильным, то он мог бы прямо на это возразить... Но говорить по поводу моих нападок на космополитизм и ассимиляцию, что «даже и в *религии* не раз пытались искать освящения для теорий народовластия, царубийства и *революции*...» – это как будто вовсе некстати.

Я до царубийств, трактуя о революции ассимиляционной, вовсе и не касался; да и касаться мне их было вовсе и не нужно; ибо царубийство, как бы ужасно и незаконно оно ни было, само по себе вовсе еще не есть действие, всегда благоприятствующее *революции* в моем (или прудоновском) смысле – *т. е. всеобщей демократической* или буржуазной *ассимиляции*.

Убиение французских королей Генриха III и Генриха IV было действительно освящено

католической религией, но оба эти цареубийства ассимиляционной революции ничуть не послужили, и сами направлявшие руку преступников не эту ассимиляцию имели в виду. Так что ни сознательно, ни непредвиденно (и это ведь бывает) оба эти преступления в пользу *моей* (и прудоновской) революции не действовали. Вообще было много *и реакционных* посягательств на жизнь людей, стоявших во главе того или другого государства. Густав III шведский был убит дворянином Анкарстремом из побуждений аристократических; реакционный же характер (в пользу рабовладельчества) носило и убийство президента Линкольна в Соединенных Штатах. На жизнь Наполеона I посягали роялисты, люди, уж конечно, не расположенные потворствовать уравнительной революции...

Мятежи и восстания тоже не всегда имели цели либерально-демократические (ассимиляционно-революционные), а носили нередко, как всем известно, весьма реакционный характер.

Раз мое понимание слова «революция» г-ну Астафьеву не понравилось, нужно было

сказать мне, что я не так его употребляю. Но поставить рядом слова «народовластие, царевубийство и революция», в смысле восстания или кровавого переворота снизу, противопоставлять их все вместе представлению о медленном и нередко вполне мирном и законном процессе всемирной ассимиляции – право, этот прием не совсем удобный!..

Впрочем, все это до того уж просто, что долго рассуждать об этом мне как-то и совестно.

Лучше я напомним г-ну Астафьеву вот что:

В 188... году он читал публичные лекции... <пропуск в тексте> и потом издал эти лекции отдельной брошюрой.

На этих лекциях и в этой брошюре он удостоил мои прежние труды особенно лестного внимания и про мою гипотезу *вторичного разрушительного смещения* выразился, что...

^{12} Но ведь это *смещение* и есть наилучший и наискорейший путь к ассимиляции. Если с тех пор г-н Астафьев изменил свой взгляд на эту мою гипотезу и стал находить, что процесс сословного, религиозного, областного и племенного смещения весьма охранителен

или политически полезен, то это другое дело.

Если же он остался при прежнем хорошем своем мнении об этой моей мысли, то почему же он не хочет видеть, что рассуждение мое против политики племенных объединений есть не что иное, как приложение все той же общей теории предсмертного смещения к особому лишь частному случаю?

Сближаться политически со всеми остальными не русскими славянами – надо, но без доверия, без увлечения и поспешности, *даже и в случае самых благоприятных для того обстоятельств*. Не потому нужны это недоверие и эта медленность, что нельзя рассчитывать на дружбу славян. Нет – и дружба, и единство интересов найдутся, когда образуется славянская конфедерация; ибо один из членов этой конфедерации будет несоизмеримо сильнее всех других; боязнь и выгоды слабейших в этого рода делах суть самые верные залого политические – верности. Но потому, что современная религиозная, монархическая, сословная и умственная реакция в России *еще слишком слаба* для того, чтобы Россия могла уже теперь безнаказанно связать

свои исторические судьбы с судьбами всего славянства, особенно западного, австрийского.

Простое, т. е. только *государственное*, объединение итальянцев и немцев – достаточно для Италии и Германии.

Их культурное творчество – *позади*, в прошлом; теперь, кроме опытов дальнейшего уравнивания, им ничего не может глубокого предстоять. Культурно – весь Запад уже истощился.

Но наше «национальное самосознание» не должно удовлетвориться таким упрощенным и бесплодным европейским идеалом, а искать надо нам чего-нибудь более глубокого и *широкого* по содержанию. Иначе Вл. С. Соловьев будет совершенно прав, говоря:

– Куда нам, по Данилевскому, противопоставить себя *целой* европейской цивилизации и претендовать на создание нового культурного типа! Русская цивилизация есть цивилизация европейская – и больше ничего. Частная форма общего европейского типа, весьма вдобавок небогатая содержанием.

Г-н Соловьев ошибется, наверно, только в

одном: не с папством мы примиримся в новом и могучем догматическом и политическом единении; не римскому католицизму мы принесем в жертву те национальные основы наши (которыми мы оба с г-ном Астафьевым так дорожим) – нет, мы принесем эти основы в жертву общечеловеческой демократии и через ее посредство – еще гораздо более нынешнего – приблизимся духом к той всесветной буржуазии, которая поглощает мало-помалу все на земном шаре. Ибо даже и социалисты, и рабочие хотят быть все-таки буржуа. Это неизбежно только в случае, если над нашей русской религиозностью, над монархическими нашими убеждениями, над словными наклонностями нашей национальной почвы мы, в погоне за одной чисто племенной государственностью, дадим восторжествовать в среде объединенного славянства – свободе, парламентаризму и религиозному равнодушию, которые не только глубоко въелись в души чешских, сербских и болгарских интеллигентов, но и в России еще во все не так вытравившись, как многие воображают...

Я говорю: если бы после счастливой войны Австрия в развалинах лежала бы у ног наших, то и тогда надо подать ей руку и восстановить ее в прежних, *додунайских*, пределах.

И это необходимо сделать с двумя целями.

Во-первых, Габсбурги после подобного торжества могут служить как превосходное оружие против гогенцоллерновой гордости. Они в Германии еще *не забыты!*

А во-вторых – как я уже не раз говорил, – долгое существование Австрии даст нам время устояться в среде строго православной Восточной конфедерации с Царьградом во главе и предохранит эту конфедерацию от неизбежных уступок и сделок со славянами – католическими и либеральными.

Довольно! Рассуждать больше обо всем этом я не буду; спорить не желаю.

Что-нибудь одно из двух: или на г-на Астафьева нашло непостижимое затмение; или моя брошюра до того дурно написана, что я из поклонника национального идеала нечаянно попал в противники и, воображая, что я этот идеал берегу и защищаю, по неумелости моей оказал ему медвежьёу услугу.

Я не хочу быть пристрастным к себе, не решаюсь обвинить г-на Астафьева в непонятливости – и потому охотно беру вину этого странного недоразумения на себя.

Mea culpa! Mea culpa!^{13}

Мои мысли, вероятно, так неискусно изложены, что даже и такого ученого человека, как г-н Астафьев, это мое недостойнство ввело в глубокое заблуждение насчет целей и намерений моих.

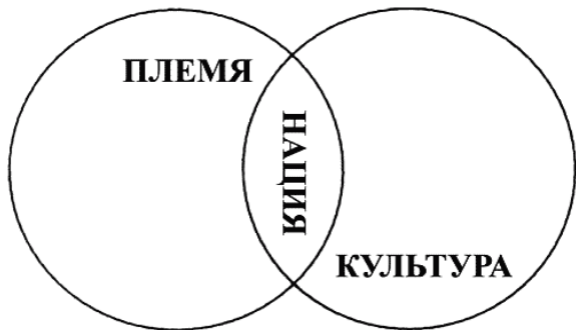
Г-н Астафьев убежден, что он понял мою брошюру; я же сознаюсь, что в его заметке ничего не могу понять и очень жалею об этом.

Сознаюсь и каюсь еще в одном.

Озаглавил я мою брошюру неудачно: «Национальная политика» и т. д. Надо бы озаглавить ее: *«Национально-культурный идеал и политика племенных объединений»*.

Так было бы яснее.

Я дурно озаглавил мою брошюру не потому только, что заглавие ее очень длинно, но еще более потому, что захотел некстати придерживаться общепринятого выражения «национальная политика». «Племенная политика»,



«политика племенных объединений» – это название принадлежит мне. Я первый стал употреблять его. Оно гораздо определеннее, чем название «политика национальная».

Последний эпитет, общепринятый, употребляется в самых разнообразных смыслах. Иногда она значит – просто политика твердая, независимая, самостоятельная. Иногда она значит – политика поддержки религиозных основ, скрепляющих нацию; иногда, напротив, ниспровержение этих основ во имя племенных стремлений.

Наполеон III ввел, так сказать, в моду в XIX веке политику племенных объединений, «политику национальностей». Он способствовал

освобождению и объединению Италии; для Италии его национальная политика была политикой племенной. Но он хотел поддержать папство, как религию для Франции исторически национальную. Значит, для Франции его политика была политикой религиозных основ.

Мы отказываемся от участия в Берлинской конференции по рабочему вопросу⁽¹⁴⁾ – и эту прекрасную политику можно назвать национальной (самобытной, даже имеющей культурно-обособляющий смысл).

Мы вводим в Остзейских провинциях общеевропейские (англо-французские) суды на русском языке. И это, говорят, национальная политика...

В <18>60 и <18>70-х годах мы поддерживали болгарское движение против константинопольского патриарха – это звали национальной политикой (в смысле племенной эмансипации).

Теперь мы от болгар *отшатнулись* – и стали несравненно внимательнее относиться к Православию, и это национальная политика (в смысле национальных религиозных ос-

НОВ)...

Национальность вообще можно графически вообразить себе в виде площади пересечения двух кругов. На одном написано культура (т. е. совокупность религиозных, государственных и бытовых отличий), а на другом – племя (т. е. совокупность природно-физиологических и лингвистических <отличий>).

Перетягивая жизнь в сторону более идеальную, мы усиливаем в нации весь слой культурный – силы и особенности. Перетягивая жизнь в сторону этно-природную, почти чисто-физиологическую, мы содействуем разрушению или – что в сущности то же самое – космополитизму, революции всеуравнивающей (всеобщей ассимиляции). Это случалось не всегда – в XV, XVI и XVII веках племенные объединения в России, Франции, Испании и Англии способствовали культурному обособлению этих наций. В XIX веке объединение Италии и Германии обнаружило ассимиляционный характер.

Что будет в XX <веке> – не знаю; но думаю, что русским очень полезно иметь все это в виду.

И тот не нападает на культурно-национальный идеал, который говорит, что хотя до сих пор в истории каждая культура требовала особого племени для своего воплощения, но ведь может настать и пора торжеству одной всемирной цивилизации, которой покорятся все племена волей и неволей...

Мы не хотим этого! Похвально. Но если не хотим, то наше «национальное самосознание» должно быть ясно, и мы из примеров других (должны) поучаться, что опасно для нашего культурного идеала и что <нет>. Например, открытая вражда, чья бы то ни было, не так для него опасна. Гораздо опаснее близкая дружба с единоплеменниками, зараженными, быть может, неизлечимо – общеевропейскими вкусами и привычками.

IV

Теперь, рассмотревши эти иноземные примеры, обратимся опять к отечественным.

Можно ли назвать национальной политику прошедшего царствования, как внутреннюю, так и внешнюю? И да, и нет. Если придавать слову «национальный» значение более племенное, чем культурное (более физиологическое, чем идейное), то, конечно, было в это время много таких действий, в которых господствовал дух национально-племенной; но мы напрасно будем искать проявлений духа национально-культурного за все 25-летие, истекшее от Крымской войны до <18>81 года.

Эпоха была либеральная; во многих отношениях прямо даже революционная, – и вот *вместе* с либерализмом и с революцией процвел у нас впервые и национализм племенной.

В самом начале <18>60-х годов обнаружались <... > первые югославянские освободительные движения, которым и правительство, и политическая литература наша так долго без разбора потворствовали. Движение

болгарских рационалистов против вселенской Церкви встречало, например, у нас *столько же сочувствия* (если не более), сколько и восстания сербских земель против султана. В этом случае племенная политика наша была сознательная и преднамеренная. Она до того была преднамеренная, что мне самому в этих <18>60-х годах пришлось читать две официальные записки. Одна – из Петербурга – начиналась словами: «Дальнейшее существование Турецкой империи сделалось для нас в высшей степени невыгодным»... И дальше следовали вопросы, как бы разрушить эту империю, не воюя самим. Вторая – ответ на первую – начиналась так: *«Православная политика на Востоке решительно устарела»*. А за этим следовал проект естественного деления Турции по племенам; Царьград же... предназначался стать *«вольным городом»!!!* Я ничего не имею против не только естественного, но даже и *неизбежного в этом случае* деления турецкого наследства по племенам; но Царьград – *вольный город* – это одно уже бросает яркий свет на все остальное!.. И доказывает – как мало тогда боялись космополи-

тизма и революции. Как не умели вовсе *видеть* их в своих собственных планах и действиях!

Когда касалось до югославян, наша национальная политика того времени была не только племенная (это бы еще в этом случае не беда, ибо здесь племя было связано с Православием), но она была прямо *противоосновна* – в болгарском вопросе.

Когда же дело коснулось не единоверных болгар и сербов, а единоплеменных, но иноверных поляков¹⁵, то национальное дело наше *благодаря вражде* приняло оборот более благоприятный: здесь нам поневоле пришлось схватиться между прочим и за Православие – как за лучшее оружие для борьбы с польским католичеством.

Здесь, именно благодаря упорству и вражде поляков, национальное дело наше получило более религиозно-культурную окраску.

Хотя все-таки, зная *тогдашнее* настроение наших правящих сфер, понимаешь слишком ясно, что и в польском деле государственно-племенной *русизм* был главной нашей целью, а Православие только удобным подспо-

рьем.

Многие, я думаю, помнят бывшее в то время между Катковым и Аксаковым важное разногласие. Катков, не отказываясь, конечно, и от Православия, имел главным образом в виду *русизм*. Аксаков же, напротив того, старался напомнить о том, что русский народ таких православных немцев, как Розены (например, и других, которых фамилий я не помню), считает своими, а русских католиков – подобных Гагарину и Мартынову – он никак своими не сочтет[5].

Катков являлся и в этом случае, как и во многих других, представителем политики государственно-племенной, Аксаков – страстный и неосторожный защитник либерально-племенного начала в болгарском вопросе – здесь являлся представителем того рода национальной политики, которую я предлагаю называть *политикой основ*.

Государственный русизм, как и следовало ожидать *от той* эпохи, сделал гораздо больше успехов в Польше, чем Православие.

Я понимаю *необходимость* такого *pis-aller*^{16}... Я и не нападаю ничуть на наши усилия

государственной руссификации западных окраин наших. Боремся чем можем, боремся тем, в чем мы сильнее.

Я прибавлю к этому только вот что. Слава Богу, что поляки так враждебны и так упорны! Для того, кто поет лишь о славянской любви и славянском единении, для того, кто верит в какую-то *христианскую* политику (т. е. в политику любви и высшей морали), для того, кто имеет в виду не *культурный славянский тип*, а вечный мир и благоденствие всех народов славянского племени, для того, конечно, мое восклицание «Слава Богу, что поляки так враждебны и упорны!» может показаться ужасным, бесчеловечным и антихристианским. Но я держусь других взглядов – и люблю смотреть прямо в глаза тому, что *мне кажется истиной*, не справляясь о том, как отнесутся к моей истине нервы читателей; или их лицемерие. Христианской же политикой я считаю лишь ту, которая благоприятна Церкви и утверждению веры.

Аксаков был прав; избави нас Боже от множества *обруселых* католиков и *обруселых* евреев; и дай нам Господи побольше православ-

ных *ляхов* и даже православных *израильтян!*..

Довольно с нас и великого множества русских, равноправных с нами, протестантов...

Нужно ли говорить о *реформах*? Я думаю, не надо. Все они – за исключением наделения крестьян землею и сохранения земельной общины – были самые обыкновенные *либерально-европейские*, космополитические. Не по намерению, конечно, а по плодам. Только наделение крестьян землею и сохранение земельной общины можно назвать мерой *государственно-социалистической* (прошу никого не пугаться слова «жупела»), а *не либеральной*; в том смысле, что прикрепление крестьян к земле (хоть еще до сих пор и недостаточно твердое и полное) есть своего рода закрепощение, в высшей степени благодетельное. Это одна из форм той зависимости от *общин* и *государства*, которой так опасается либерал Герберт Спенсер[6]. Эту благую охранительную меру можно назвать еще, сверх того, и вполне *национальной в культурном смысле*, ибо она нас с государственно-бытовой и хозяйственной стороны *обособляет* от общеза-

падных порядков, и, вероятно, ей мы прежде всего обязаны как тем, что нигилистам не так легко было действовать на народ, так и тем, что нам не понадобилось посылать русских членов в Германию на конференцию по рабочему вопросу. Не от пауперизма она избавляет наш народ, но от индивидуализма.

Но кроме <...> – <...>, что было *русского*, истинно *национального* во всей политике истекшего реформенного 25-летия? Ничего!

Все общеевропейское, прогрессивно-либеральное, нивелирующее, производящее именно то *смешение*, которое я считаю *разрушительным*, революционным по преимуществу.

Немцев *среднего положения*, среднего класса (средних немцев) расселилось по России множество; евреям даны неслыханные дотолы вольности; при браках православных с протестантами дозволено было воспитывать детей в протестантизме (теперь это, слава Богу, опять отменили). Разбогатевшие мужики, мещане и купцы становились помещиками; дворяне разорялись и пускались в торговый оборот или поступали на службу в частные (европейские по устройству и духу)

компании... Многие из монастырей одно время хотели упразднить; чуть-чуть было не навязали церкви суды по образцу европейских. Белое духовенство (всегда более, чем черное, расположенное к чему-то протестантскому) вышло более на вид и получило против прежнего больше силы.

Все низшее поднималось, все высшее – принижалось. Цензура была слишком снисходительна... Железные дороги усилили по всей России движение и быстрый обмен на западный лад. *Капитализм* впервые дал почувствовать свою всепожирающую силу.

Что же мы найдем во всем этом русского, обособляющего, или *новотворческого*, или хоть охраняющего то, что создано было прежде?

Ничего! В каких-нибудь 25 лет русское общество понятиями, учреждениями, вкусами, образом жизни и пороками, и пускай даже и хорошими сторонами – приблизилось к обществам западным несравненно более, чем в 200 лет – со времен Петра.

Нужно было иметь все ослепление и все теоретическое упрямство славянофилов, что-

бы видеть во всем этом космополитическом погроме – во всех этих подражательных «новшествах» – «благочестивый дух нашей старины»! Славянофилы, которые говорили всегда так верно и глубоко: «Не *Европа* нам страшна, нам *опасен европеизм*», – не узнали этого самого европеизма именно тогда, когда он втерся в нашу жизнь почти весь *сполна*... чуть-чуть не дошел и *до конституции!*..

Итак, если кто скажет, что и политика правительства, и дух политической печати, и преобладающее настроение самого общества были в России *национальны* от <18>56 до <18>81 года, то с тем уже и рассуждать нельзя.

Конечно, *общие* наклонности у нас в течение этой несчастной для России четверти века были европейские, космополитические (т. е. революционные); они *преобладали*. Но в жизни никакое начало до конца не доводится; всегда остается хоть небольшое место и для действия других начал. Нечто подобное национализму появилось (сверх соблюдения земельной общины) и в двух случаях. В польском деле, как я уже говорил, – благодаря *вражде*, благодаря *страстному нежеланию*

смешения с нами со стороны поляков и *благодаря* иноверию – национализм наш принял более *православный*, более культурный поэтому, обособляющий характер. Мы стали гораздо больше заботиться о Православии в Западном крае.

В деле же болгарском, *благодаря* напускным симпатиям, *гораздо более племенным, чем вероисповедным*, наша политика впервые решилась выступить явно против авторитета Восточной церкви.

Все это пора уже знать наизусть, и, конечно, надо согласиться, что *тут-то уж племенная* политика была революционна в самом простом и грубом смысле. Она была *противо-церковна, против-основна*. То, что мы только двое с г-ном Филипповым признавали за истину двадцать лет тому назад, теперь у нас признают уже все.

Поэтому – оставим этот вопрос.

Скажу лучше о деле гораздо менее известном. Все в тех же бедственных для России <18>60 и <18>70-х годах существовал у нас тайный политический проект... Какой бы Вы думали?

*Проект соединения сербов и болгар в одно государство*¹⁷. Издавались на Востоке и брошюры под нашим покровительством в этом духе. Разумеется, так как сербы, отчасти болгары, все были еще под властью турок, а мы воевать решительно избегали, то проповедовалось не прямо восстание с целью немедленного освобождения и *слияния* в одно целое этих двух враждующих славянских наций, а только предлагалось стремиться к этому, быть согласными, действовать заодно и т. д. Вообразите, что бы вышло, если бы этот план удался; если бы эти чувства у болгар и сербов созрели бы *вполне* ко времени *взрыва* <18>76 и <18>77 годов¹⁸? Что бы вышло для России, и для Церкви православной, и даже для будущности самого *всеславянства* в случае падения Турции!

Ужасно подумать!

Константинополь – вольный город; без прямого и властного русского присмотра.

Сербо-болгарское королевство от берегов Адриатики и Дуная – до морей Эгейского и Черного. Королевство непременно конституционное, демократическое в высшей степени,

вполне бессословное, управляемое неизбежно рационалистами и, быть может, еще и сплошь *схизматическое*. Ибо образованные сербы, по *существу* дела, ничуть не религиознее болгар; и если они остались в связи с Церквами русской и греческой, то это произошло совсем не от религиозности, а лишь оттого, что не было никакой нужды отделяться; да и сама политическая антипатия сербов к болгарам побуждала их не делать именно того, что делали болгары. Если же бы мы достигли своей тогдашней ребяческой цели – примирить и слить болгар с сербами, то при *глубоком* религиозном равнодушии и тех и других и все при той же потребности предпочитать в национальных делах *племя основам*, физиологию – мистике, их слияние могло бы еще несравненно более потрясти Церковь – чем потряс ее чисто болгарский раскол.

Итак, вообразите: схизматическое, демократическое, либеральное югославянское царство, *заступившее* нам дорогу к Босфору – с европейской стороны.

На Босфоре – Царьград – самоуправляющийся вольный город; какая-то муниципаль-

ная республика с населением в высшей степени пестрым, но не группированным, как при турках, а *смешанным в общей космополитической равноправности...*

Какова была бы при этом роль России? Не пришлось ли бы ей вскоре после подобных плодов либеральной и чисто племенной политики... обнажить снова меч свой уже не против турок, а против тех самых югославян, которым она так неразборчиво потворствовала? Победить их, завоевать, покорить, обратить в свои наместничества или даже губернии, другими словами, *принять внутрь* огромную дозу неисправимого либерализма. И при всем этом – найти даже и все Восточные церкви в самом ужасном расслабленном положении...

Да, ни в чем мне не видится так ясно Десница Промысла, хранящая Россию, как в истории наших новейших восточных дел! Мы делали все, что от нас зависело, чтобы перенести центр тяжести этих восточных дел с *вероисповедной почвы на племенную, с государственно-русской – на либерально-славянскую*, и все-таки нам не удалось этой цели достигь

вполне...

Религиозная и монархическая реакция в недрах самого русского общества^{19} совпала в высшей степени счастливо с поразительными примерами югославянской неблагонадежности; сперва сербской (при Милане^{20}), а потом болгарской при Баттенберге^{21} и Стамбулове.

Нам перестала теперь нравиться так называемая «христианская» политика; политика лицемерия или простодушия; политика «освобождений», братских слияний и смешений; и стала снова понятна политика *православная*, политика религиозных основ и высшего, правильно понятого государственного интереса.

За последние девять лет мы видим *едино временно*, во внешней политике значительное охлаждение к *национализму чисто племенному*, во внутренней жизни неслыханный дотоле порыв к *национализму культурному*. Явные признаки недоверия к первому; и настойчивое, дружное искание второго.

И даже тот всеобщий пламенный отпор, которым встретила русская литература като-

лические и антинациональные увлечения Влад<имира> Соловьева, свидетельствует о силе этого искания.

И Ваша статья «Национальное сознание» есть тоже одно из проявлений того же охватившего нас духа, того же порыва к своему культурному типу...

Естественно, что Вы, как человек мысли отвлеченной, для посильного служения этому идеалу избрали своей темой нечто более общее – «сознание». Это не только понятно, но даже и весьма похвально, ибо, насколько мне известно, именно с этой более общей и философской точки зрения вопрос еще не был до Вас специально никем рассмотрен.

Неодобрительна и даже непонятна только та ложка критического дегтя, которая, по поводу моей брошюры, испортила всю бочку Вашего философского меда.

Неглубоко же будет это бедное сознание наше, если оно не в силах будет в национальных делах различить племенные увлечения и сочувствия – от идеалов культурных, космополитические *плоды* от национальных намерений.

Положим, что главная опасность эта уже миновала.

Все то, что я выражаю давным-давно с достаточной, смею сказать, ясностью, теперь мало-помалу входит в сознание многих; входит еще смутно, положим, но это не беда...

Русская жизнь издавна привычна идти ощупью, и полусознательные, даже бессознательные *действия* и *явления* этой жизни были очень долго гораздо выше их литературных выражений.

Мы вообще действуем лучше, чем мыслим; а мыслим нередко все-таки много смелее и яснее, чем пишем.

Положим – это так.

Но на все свое время. В старину наша *почва* национальная была так густа и неподатлива в своих особенностях, что самые крайние западные и космополитические увлечения мысли нашей встречали бездну препятствий, в этой почве веками устоявшихся в глубокой обособленности своей. И не только мысль эта встречала препятствия в этой почве, но она и сама обвеивалась, так сказать, ее оригинальными испарениями.

Теперь не то. Теперь извозчик и овощной торговец читают газеты; купеческих приказчиков зачем-то *пускают* на всемирные выставки; смоленские мужики ездят лечиться к Пастеру. возвращаются домой в *парижских цилиндрах* и хвалят донельзя порядки республиканской Франции (где их ласкали из политических соображений еще *вчерашние* злейшие наши враги!).

Теперь, конечно, нужна сильная реакция против европеизма в наших высших умственных сферах; необходима полная *ясность* и независимость национального сознания, чтобы знать твердо, *где Европа* (увы!) *неизбежна* и где можно и должно ее отвергнуть без ущерба нашему развитию и нашей практической силе.

И потому-то именно и не похвально одному из ученых провозвестителей этого сознания не различать двух таких противоположных вещей, как защита национального идеала и нападение на него!

Не моей брошюры тут жалко (она еще не раз вспомнится!); жалко этого пятна на Вашей статье, во всех других отношениях весь-

ма полезной и своевременной.

* * *

Итак, если идеал наш не простой либерально-политический панславизм – наподобие Италии и Германии; не одно создание и сохранение сильного *европейского* государства из национальных славянских племен, то чем же он может быть?

Тут, по-моему, могут существовать только *три* одинаково грандиозных, но не одинаково привлекательных представления; три идеала.

Идеал Вл. Соловьева, т. е. соединение Церкви, римский первосвященник – русский царь в высшей степени гуманно и свободно устроят общества, – и *Царство Божие* на земле (Богом, впрочем, никогда не обещанного).

Или – идеал Данилевского: полная, высшая, небывалая до сих пор – *четырёхосновная*, самобытная славянская культура (разумеется, при сильном государстве). Культура эта, в свою очередь, через несколько веков цветения падет; государство разрушится; но очень <...>

И третий идеал – *нигилистический* и вдо-

бавок самый крайний – с русским «ничего»!

Все остальное помещается между этими тремя путями; все остальное так или иначе близится к одному из них.

Что наши западники-либералы (сочувствующие «Вестнику Европы», «Русским ведомостям» и т. п.) – такие же нигилисты, только «берегущие свою шкуру», – это уж до того всем (не-нигилистам) известно, что в наше «доброе *новое* время» никто уж и доносом ложным этих слов не сочтет. Если они наивны и сами этого не понимают, то это делает честь их сердцу, но до того уж унижает их ум, что и верить их добросердечию что-то не хочется.

Я был, как Вам известно, издавна пламенным приверженцем второго *идеала* и остаюсь им, как видите.

Я допускаю значительную пользу от сочинений Вл. Соловьева, в их *более общих сторонах*, не рационалистических, но никак не могу из этих общих основ его *попасть в Рим*, как он попадает.

Вольно же ему из «Критики отвлеченных начал», из «Религиозных основ» и даже из его

истинно *поразительной* теории «Догматического развития Церкви» выводить необходимость подчинения Риму! Если уж *развитие* Церкви должно продолжиться (допустим и это), из этого никак не следует, что это развитие должно непременно выразиться в принятии *filioque*^{22}, папской непогрешимости и т. д. Слишком много существует данных для того, чтобы нам надеяться на вовсе *иной* путь подобного дальнейшего развития. И Вы, между прочим, очень хорошо сделали, что в статье Вашей указали и на *земные* цели его проповеди^{23}, цели и настоящим христианством не указанные, и с рациональной точки зрения несбыточные (ибо Гартман, которого Вы мало уважаете, все-таки прав – «*страдание в нас самих*»).

Восхищаясь основами учения Владимира Сергеевича и многими гениальными подробностями его теорий, я не могу подчиниться ни его религиозным выводам, ни некоторым его гуманно-утилитарным требованиям. (Просить у Польши прощения; дать евреям равноправность; не воевать и т. д.)

Верно и то, что Вы говорите о националь-

НОМ *СОЗНАНИИ*.

Ибо из того, что период творчества бессознательного у нас почти окончился (я говорю только *почти*, а не совсем; это еще вопрос, совсем ли), никак не следует, что не может быть творчества *сознательного*.

Напротив, если у русского государственно-го мужа, имеющего власть, или у публициста, имеющего влияние, будет постоянно в уме присутствовать мысль, что нам вообще примера *современной* Европы нужно опасаться и что если уж искать *полезных* примеров, то лучше искать их в прошедшем этой самой Европы, чем в ее либерально-эгалитарном и рационалистическом настоящем, то это непременно отразится и на их практической деятельности и не пройдет для общества без глубокого следа.

Прежде, положим, *не искали* быть оригинальными и независимыми, но это эмпирически выходило; а теперь будут искать; но из этого не следует, что не смогут найти этой независимости. «Оригинальничанье (как он, Соловьев, выражается) вместо оригинальности, народничанье вместо народности»^[24] вы-

ходят не тогда, когда человек или целая нация сознательно *хотят* быть оригинальными и народными, а тогда, когда в них вовсе нет уж *тех* самобытных сил и запасов, которые могут быть развиты и укреплены под влиянием этого сознательного и страстного желания. Надо надеяться, что у нас эти самобытные силы и запасы не иссякли.

То же лучше для опровержения этой ложной мысли, избитой уже достаточно другими и недостойной ума Владимира Сергеевича, как не ежедневное обращение неверующих людей к вере? Что может быть непосредственнее и даже стихийнее, как чувство богобоязненности, как желание молиться, просить чего-то у невидимого Высшего Существа. В своей, например, комнате и наедине – для кого притворяться? Нет ни простолюдина или детей, которым хочешь показать «все-таки полезный» пример; ни начальника, перед которым почему-нибудь выгодно показать себя *хоть* чтущим религию... Человек один с своей совестью и Богом; с Богом, в Которого он *стихийно*, но сознательно уверовал, Которого он и любит, и боится, Которому теперь

он «со страхом служит и с трепетом радуется»!

Он не всегда веровал; он был долго неверующим или полуверующим; теперь, как говорят кощунственно-легкомысленные люди, «он дошел до просвир и лампадок». Он человек образованный, начитанный; он чисто наивным путем чувства не мог дойти до того, в чем растет ребенок и в чем неизменно живет неиспорченный простолюдин. Его стремление к вере было сознательным; он *хотел* уверовать; он *сознательно* искал таких встреч, таких книг, таких впечатлений и влияний, которые могли пробудить в нем остывшие мистические чувства; и найдя, он припал к этой вере с *сознательной* радостью. И такая сознательная вера – даже *надежнее* бессознательной. Наивную веру мужика, особенно не слишком старого, поколебать гораздо легче, чем поколебать сознательную веру хоть того же самого автора «Религиозных основ».

Да, сам г-н Соловьев, *наверное, не забывал* никогда (особенно при начале своего литературного и ученого поприща), что ему *хочется* внести в русскую жизнь что-то свое. И худое

ли или хорошее вышло – это его *свое*, но он достиг цели, *он внес его в русскую жизнь*. Он всех нас заставил думать о том, о чем он первый у нас задумался.

Всякий психолог, тонко понимающий *неизбежность* некоторых тайных и личных душевных процессов наших, вероятно, согласится, что мое *подозрение* верно. Вл. Соловьев имел в себе с ранних лет *залог* и для религиозности, и для самобытности мысли; он *захотел сознательно* их развить – и развил.

Точно то же может случиться и с целой нацией, если ее высшие представители, люди практической власти и люди умственного влияния искренно, страстно и *сознательно* захотят развить и утвердить в самих себе и в своей нации и религиозность, и *житейскую*, так сказать, самобытность. Народ рано или поздно пошел бы за ними и в том случае, если бы и в нем самом не было бы ни того ни другого; а в русском народе и то и другое еще и без них имеется.

Национальный идеал наш должен быть именно религиозно и житейски от Запада независимым.

Свобода ума от европеизма (новейшего, современного) и зависимость воли от веры – вот наш идеал. Таким был идеал Данилевского.

Данилевский мечтал о четырехосновной культуре; о типе полнейшем, чем все бывшие до сих пор в истории культурные типы. Религия *своя есть*, нужно хранить и утверждать ее; она и теперь не *исключительность* – племени или национальности, ибо и теперь она свойственна, кроме славян, еще и грекам, и румынам, и сирийским арабам, и грузинам. Но она именно при помощи сознательного, просвещенного к ней отношения может стать точно так же всемирной и распространенной, как и то папство *будущего*, которому г-н Соловьев так предан.

Государство *свое* сильное есть. Правда, нет до сих пор своей ясной и резкой государственности; нет целой и своей системы юридических и политических идей, воплощенных в законах и в самой жизни.

И даже (увы!) надо сознаться, что и та слабая степень государственного своеобразия, которой мы отличались в подробностях от

других наций Европы, в XIX веке до реформ <18>60-х годов, стала после этих реформ еще много слабее. Реформы эти (за исключением наделения крестьян землей и некоторого охранения общины – и сохранения самодержавия) были совершенно европейскими в новейшем стиле.

Итак, следуя идеалу Данилевского, и с этой стороны надо желать и искать для великого государства нашего (а позднее и для православных союзников его) *пути самобытной государственности*. Кажется, что на это искание есть теперь кой-какие надежды.

Искусство и мысль (третья основа Данилевского). О ней я тоже умолчу здесь. Вы с этой стороны, кажется, даже ближе к Данилевскому, чем я, Вы ждете еще своей философии. Я же <...>

Экономическая сторона (четвертая основа). Об этом я пока тоже умолчу – совсем *по другим причинам*; по цензурным. На эту сторону у меня взгляд такой особенный, что я не могу об этом, не подготовившись, говорить.

Впрочем, и об этого рода самобытности в моих книгах говорилось кое-где, но без раз-

личных доказательств; в виде афористическом, по простому, но неискоренимому предчувствию.

Данилевский также в самобытное развитие наше на этом хозяйственном пути чрезвычайно твердо верил. А чувство таких мыслящих людей, как он, имеет и свое *рациональное* значение, как Вы, я думаю, сами готовы утверждать.

Я напому Вам предположение Данилевского и мое собственное афористическое и бездоказательное пророчество.

Я хоть и вовсе не знаток ни в области сельского хозяйства, ни в области финансов, ни по вопросу торговли и промышленности, однако кой-что слышал и видал и по этой части, и, нередко размышляя обо всем этом в общих чертах и в связи с политикой, постоянно наталкивался на ту мысль, что капитализм (т. е. господство подвижного капитала, денег, над капиталом наиболее *недвижимым*, над поземельной собственностью, с одной стороны, и над *вольнонаемным* трудом – с другой) подействовал в России в короткое время после своего недавнего воцарения (с <18>61 года) – го-

раздо вреднее (с экономической стороны), чем в свое время (чем целый век тому назад) на Западе. Это ведь не мое мнение, а взгляд многих людей более меня компетентных. Хозяйственное расстройство России, по мнению многих, так велико, что и самое блестящее финансовое управление одного даровитого министра может дать только благодетельный толчок дальнейшему делу, но не может искоренить основного зла, которое лежит в глубоком потрясении землевладения и земледелия.

Равноправность, либерализм и капитализм, видимо, теснейшим образом связаны между собою в жизни.

Все это вместе слишком усиливает *подвижность социального строя (а против этой подвижности жизни и ее психического отражения и Вы восставали)*. Мне все кажется, что именно России суждено возвратить социальную жизнь к *меньшей подвижности*.

А эта меньшая подвижность возможна только при *неравноправности* и при *различного рода прикрепощениях лиц к земле, к общинам, сословиям и другим учреждениям*.

(См., между прочим, «Грядущее рабство» Спенсера; эта книжка очень односторонняя; она выражает лишь ужас либерала; но взять в расчет этот ужас не может.)

<Необходима> новая, сообразная с требованиями времени организация сословий и общин. А всякая организация есть по существу своему деспотизм и неравноправность. Помещичьи земли гибнут; владение ими *слишком свободно*; всякий может приобрести их и продавать. Заговорили основательно о *неотчуждаемости* дворянских земель. Крестьянские общины бедствуют; здесь нет <...> свободы *отчуждения*; но зато слишком много внутреннего равенства; понадобилось усилить дисциплину *извне* и также подумать о меньшей подвижности семейной и общинной жизни. Монастыри процветают не от *жертв* одних, это не надежно и не равно; они процветают хозяйственно потому, во-первых, что недвижимость их неотчуждаема; во-вторых, потому что внутри нет ни свободы, ни равенства (*власть* игумена; *привилегии* иеромонахов, иеродиаконов, мантийных и т. д.); в-третьих, потому что движущее ими начало не

чисто хозяйственное, не рационалистическое, а *супернатуральное*, религиозное. Монастыри суть, таким образом, готовые образцы *реального* (т. е. возможного), но не *рационалистического социализма*. Не этот ли экономический идеал и предчувствовал для России Данилевский, когда говорил то-то и то-то.

Излишняя быстрота обмена и движения – психического, социально-экономического, политического (безграничное реформаторство, безграничная возня с новыми законами) – вот, мне кажется, *механическая* основа всему современному злу. (Я указываю здесь только на эту механическую сторону.)

Я имею об этом много еще сказать, но здесь не место распространяться об этом; я *напомнил* все это только, чтобы и с этой стороны доказать, что *идеалу национальной культуры* я не изменил ничуть *и ничем*.

Правда, мне случается, как бывало и прежде, возражать себе иногда скептически на все это.

Иногда я спрашиваю себя: а если и это все мечта? Если все мы, стремящиеся *теоретически* или *иначе* к этой самобытности, к этой на-

циональной культуре, только мечтатели о несбыточном?..

И Хомяков, и братья Аксаковы, и Данилевский, и г-н Страхов, и Вы, и я.

Ибо бывают у наций и людей идеалы сбыточные, и бывают идеалы несбыточные.

Если наш идеал несбыточен? Если и революционные западники, и Вл. Соловьев, однако, правы, что с *этой* стороны надежды напрасны? Если разгадка всей этой пышной фантазии нашей очень пошлая: только *политическая*? Сперва на короткое время – конфедерация с восточными христианами (у которых вся интеллигенция сплошь пока еще европействующая, сочувствующая(?) и не сочувствующая(?) *политически*(?)); потом и Все-славянская конфедерация.

Простое политическое торжество, не торжество новой славяно-восточной какой-то культуры; и даже не специально-духовное преобладание Православия; а так – обыкновенная европейская пошлость – покрупнее других; новая европейская политическая единица; очень большая европейская держава, которой граждане так же либерально и раци-

оналистически бесплодны, как французы скромного Карно, немцы ученого Вирхова или итальянцы какого-нибудь мерзавца, что ли... Но вся разница будет в том, что эти граждане говорят и пишут на языке славянском; но думают, говорят и пишут *все то же*, что думают, пишут и говорят европейцы на своих языках.

Ну – что делать...

В минуту таких колебаний мысли моя вера в русский культурный национальный идеал становится условной.

Я, все-таки *верую* в *самый идеал*, в его достоинства, верую только меньше в Россию; в ее достоинства, в ее способность осуществить подобный идеал.

И говорю себе, как испанские гранды выражались в договорах своих с королями:

– А если нет – нет!

Если не пойдет Россия по пути Данилевского, то не избежать ей позднее пути Чернышевских и Желябовых... И счастье же будет великое, если она с такого пути обратится на третий – на путь Вл. Соловьева.

Ибо именно если нет третьего выбора, то

лучше поцеловать туфлю папы, чем идти рука об руку с космополитизмом, либеральным и нигилистическим.

И когда я думаю так, то политика племенная, политика *либеральных* и *безыдейных национальностей* становится <...> очень страшной для моей дорогой Отчизны, для *ее национальности*, для ее культуры, не только идеальной и будущей, но и для той чуть-чуть самобытненькой, которой мы с непривычки теперь радуемся в нашей современной действительности.

– Неужели (думаю я тогда) мысли и мечты Киреевского, и Хомякова, и Данилевского и т. д. и современные реакционные попытки властей наших, и наши войны, и религиозное движение в современной России – все это было только необходимым средством для некоторого временного укрепления в России русского духа; для того чтобы этот подъем духа помог Русскому государству свершить чисто политические свои задачи на Востоке и Западе?.. А потом – все та же буржуазная всеобщая мерзость.

Это было бы истинно ужасно!

Вот как я *нападаю* и на национальность, и на национальный идеал, и на самое национальное начало наше. (Ибо Вы сказали, что я на все это разом нападаю!)

Это очень похоже на то, если (бы) Вы назвали нападением на Вашу *личность*, на Ваш *личный идеал* жизни и достоинства следующую речь искреннего друга:

– Послушайте, г-н Астафьев, Ваши личные особые *черты*... Вам характерные, отличающие Вас от других таких-то, таких-то знакомых наших, – мне очень дороги; эти черты я в Вас очень люблю; люблю, сверх того, и тот *личный идеал*, к которому, я знаю, Вы теперь стремитесь, стараясь усовершенствовать любимые мною черты Вашего характера и Вашего мышления. Но умоляю Вас, будьте осторожны в сближении с такими-то и такими-то соседями – и даже родными Вашими. Я понимаю, что это общение, к несчастью, необходимо для весьма существенных *выгод* Ваших; но, предупреждаю Вас, что если Вы будете мало-мальски *невнимательны* и к их *духу*, и к *Вашему внутреннему состоянию*, то все эти <... > особенности <... > сотрутся быстро, и Вы

вспомните меня тогда, но будет *поздно...* *Принудите* себя понять, что я говорю Вам не блестящие парадоксы, а *дело*, и дело весьма практическое.

Сочли бы Вы эту речь *нападением* на Вашу *личность*, или на Ваш *личный идеал*, или даже на *личное* начало вообще?

Конечно нет! Вы бы сочли этот совет приятным за желание сохранить в чистоте Вашу личность, Ваше личное начало, Ваш личный идеал, Ваш *eidos* в настоящем и еще более в будущем.

Что же теперь случилось с Вами, что Вы меня не поняли?

Я Вам говорю, что известные *специальные* действия Ваши, известные *специальные* проявления *Вашего* личного начала (потому-то и потому-то) могут повредить *Вашей* личности, могут *обесцветить* ее, ослабить Ваш *личный* дух, могут Ваш *личный идеал* сделать решительно неосуществимым в ближайшем будущем; и, говоря это, привожу Вам десятки подходящих примеров из жизни других людей, — я порицаю *лишь эти специальные* проявления *Вашей* деятельности; Вы же видите в этом на-

падение *наличное начало вообще...*

Изумляюсь!..

Теперь – несколько слов *о революции*.

Посмотрим, как Вы понимаете это слово и как я. (До сих <пор> я думал, что мы с Вами и в этом согласны или хоть *почти* согласны.)

Прежде чем начать это письмо, я еще раз взглянул на Ваши строки; и, взглянувши, вспомнил поговорку: «Начал за здравие, а свел за упокой». Вы, наоборот, начали за мой упокой, а свели за мое здравие!

Последние строки Ваши следующие: «Что же все это может доказывать?! Конечно уж, не враждебность революции и консервативность начала *космополитического...*»

Превосходно! Я рад; мы опять *почти* согласны.

Взгляните на цитату – я не изменил ни одного Вашего выражения. Но исполнивши эту обязанность строго, я хочу теперь для большей ясности перефразировать Вас немного. Эта последняя мысль Ваша, сама по себе очень ясная, по моему мнению, несколько темновато выражена со стороны стилистической; но в связи со всем предыдущим она все-

таки яснее, чем здесь у меня, в таком отрывочном виде. Мысль эта *очень мне дорога* для моих объяснений и возражений, и потому я ищу перефразировать ее поудобнее. Хочу, чтобы она, и отдельно от текста Вашего взятая, была вполне ясна.

«Космополитическое начало, конечно, не враждебно революции; оно вовсе не консервативно», – говорите Вы. Иными словами, космополитическое начало всеразрушительно.

Но ведь и я это самое хотел сказать. Стремление человечества ко всеобщей политической солидарности при всеобщем однообразии бытовом и умственном – это-то я зову (по-прудоновски) *революцией*; а никак не разные восстания, мятежи, цареубийства и другие насильственные беззакония народов и отдельных лиц. Самые мирные, закономерные и даже, несомненно, ко *временному* благу ведущие реформы могут служить космополитизму и всеуравнительной революции; и самый насильственный, кровавый и незаконный *с виду* переворот может иметь значение государственное, национально-культурное,

обособляющее, антиреволюционное (в моем и прудоновском смысле).

Вообразим себе *ретроспективно* ужасную для русского сердца и, слава Богу, теперь уже невозможную вещь. Вообразим себе на минуту, что в <18>81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частью погибли, частью в изгнании. Монастыри закрыты; школы «секуляризованы»; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей.

Чернышевский – президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин – министрами; сотрудники наших либеральных газет и журналов – кто депутатами, кто товарищами министров. Правительство учреждено; оно продержалось даже 10 лет. Все реформы в высшей степени эгалитарные и космополитические. Но и недовольных *очень* много; недоволен и простой народ гонением на религию, хотя бы и осторожным. Если бы мы с Вами при таких порядках сумели бы поднять бунт, рискуя собственной жизнью, убили бы Чернышевского и министров, повесили бы с немного греш-

ной радостью всех редакторов и депутатов, им преданных; открыли бы снова все монастыри и церкви и с торжеством возвратили бы на дедовский престол возлюбленный царский род наш, – конечно, это была бы тоже своего рода революция, в смысле кровавого и глубокого переворота, но, конечно, не в общем смысле служения космополитизму – или всеобщему претворению людей в «среднего и бесцветного европейца».

Прудон зовет этот эгалитарный прогресс революцией, и эта революция – это обращение людей в среднего европейца – его идеал... Я же принял его терминологию не по сочувствию этому идеалу, а по ненависти к нему. Прудон яснее всех, по-моему, указал на то, к чему именно идет человечество в XIX веке. Приятно и полезно знать имя своего врага и *понимать ясно* его характер и значение (см. «Византизм и славянство»).

Я позволяю себе даже думать (как Вам давно известно), что этот космополитизм губителен и *для всего человечества*, а не только для отдельных культур и наций (об этом последнем всякий и без нас знает).

И если бы, беседуя или споря со мной, космополит сказал бы мне: «Какое мне дело до ваших особых культур и наций. Я и единомышленники мои заботимся о всечеловечестве, а не об отдельных и оригинальных его группах, которых взаимная вражда и войны задерживают наступление эры всеобщего мира и солидарности, всеобщего благоденствия...»

Я отвечал бы на эти слова прежде всего тоже вопросом: «Вы желаете земного блага всему человечеству?»

– Да.

– Какое же может быть *на земле* благо человечеству, когда оно, достигши этого состояния *высшего однообразия и смешения при наибольшей, неслыханной еще подвижности жизни*, должно непременно гибнуть – вымирать постепенно или наложить на себя руки одним актом воли, как пророчит нам Эд. ф. Гартман.

Теперь, несмотря на все неудобства жизни, еще не лишенной разнообразия и не дошедшей в быстроте обмена до окончательного безумия, посягают на свою жизнь хотя и

чаще прежнего, но все-таки немногие (либо от уныния и скуки, либо, гораздо реже, от пресыщения); тогда же, вероятно, настанут одновременно и всеобщее пресыщение дарами высшей цивилизации, и всеобщая тоска от невозможности выхода и возврата. Впрочем, думаю, что Гартман прав *вообще* относительно будущей скуки и *гибели* человечества; я не хочу утверждать, что он <...> форму гибели.

– Кто это докажет? Быть может, цивилизация изобретет такие утешения и такие ресурсы, которых мы и вообразить теперь не можем.

– Что она изобретет еще очень многое и неслыханное, это весьма вероятно. Но что наслаждаться устаревшее человечество этими изобретениями будет слабо, – это ясно уже из современных примеров; теперь все до того привыкли к железным дорогам и телеграфам, что, с одной стороны, <никто> отказаться от них не хочет, а с другой – ничуть не намерен считать себя более счастливым на свете, оттого что может скорее прежнего куда-нибудь доехать. Прежние страдания и отдельным че-

ловеком, и целым обществом легко забыва-
ются; новые же неудобства, во всем неизбеж-
ные, ощущаются глубоко и раздражают тем
сильнее, чем более люди становятся нервны
и впечатлительны от совокупности «цивили-
зующих» условий. Уже и в конце нашего XIX
века заметен сильный упадок надежд, если
сравнить наше время с концом XVIII столе-
тия. В XVIII веке, оглядываясь назад, мечтали
о небывалой идиллии золотой первобытно-
сти; устремляясь вперед, – ждали всех благ от
царства безусловного разума. Теперь *исто-
рию прошлого* знают лучше и в *разум будуще-
го* верят меньше. Тогда было страшнее, те-
перь скучнее. Тогда жизнь была гораздо раз-
нообразнее нынешней по *образам* своим и
много медленнее по *движению* и *обмену*,
жизнь сама по себе тогда была поэтому *глуб-
же*; и благодаря обильным запасам этой
прежней глубины и этого прежнего богатства
искусство и мысль в первой половине нашего
века стали так неслыханно богаты и разнооб-
разны. *Усилившееся* в конце XVIII и в начале
XIX века *обменное движение* жизни еще не
могло сразу посредством *смешения* превра-

тить все цвета прежней жизни в один серый (буржуазно-прогрессивный). Это ускоренное движение придало только всему еще сохранившемуся больше *психичности*, так сказать, и усилило донельзя *сознание* европейского человечества. К половине нашего века *движение* это перешло за ту черту, за которой оно действительно *одушевляло* людей, усиливало сознание, не губя окончательно *наивных* начал и разновидность жизни; *обменное движение* это теперь все усиливается; разновидность же и бессознательность (на Западе, по крайней мере) гибнут все более и более... Все смешивается, все понижается, все, бледнея и бледнея, несетя вперед в вихре, ужасающем ум. И самому неудержимо растущему самознанию человеческому – этот вред и эта гибель мало-помалу становятся ясными. Один весьма умный и ученый знакомый мой, согласный со мной – относительно вреда подобного ускорения жизни в связи с *упрощением* ее образов, – выразился однажды так: «Этим путем можно дойти до того, что вся жизнь сделается похожей на жизнь в гостинице; один номер немного побольше, другой по-

меньше; один пониже, другой повыше; в одном обивка мебели коричневая, в другом синяя, в третьем красная; но фасон даже мебели везде одинаковый. И ни в одном из этих номеров больше двух-трех суток не позволяют *обстоятельства* прожить. *Необходимо* переходить из одного в другой. Беспрестанные перемены на фоне глубочайшего однообразия». Не правда ли, прекрасное уподобление? Будет невыразимо тяжело, когда все станет скучным и бесцветным. Жить не захотят.

Вот как я понимаю космополитизм; вот что я называю то революцией, то эгалитарным прогрессом, смотря по требованиям речи и мысли.

Однородный эвдемонический космополитизм – это цель; революционный прогресс или эгалитарная революция есть современное движение к этой цели; по мнению Вашему, эта цель – блаженство жизни земной. Поэтому, – это гибель земного человечества, это смерть его. Прежде смерть – духовная, нравственная, эстетическая; а потом и физическая. И если Вы любите человечество, как Вы утверждаете, то зачем же Вы хотите ускорить

его гибель. Так или иначе все живое, все органическое, все даже существующее в мире явлений, конечно, гибнет наконец; но любя что-нибудь в этом мире явлений, я не буду ускорять его гибель, а буду придумывать средства – как удалить час этой гибели; как задержать процесс разрушения!

Вот что бы я сказал космополиту.

Но зачем мне *Вам-то*, г-н Астафьев, говорить все это?

Ну, не досадно ли?

Было время, когда Вы отлично знали, как я обо всем этом думаю. Я не беру на себя смелость утверждать, что Вы со всем этим соглашались вполне; я говорю – только: *знали*.

Почему же в этой, по-Вашему, «блестящей» брошюре я вдруг стал неузнаваем?

Зачем назвали Вы мою картину современной Европы «блестящей»? Я знаю, я догадываюсь, что Вами руководило то особого рода, доброе *моральное* чувство, которое располагает деликатного и благородного человека сказать другому не лесть, а *приятную правду*, и в особенности тогда, когда приходится тут же порицать его. Я признателен Вам за это, и хо-

тя я, как Вам известно, избегаю писать о *чистой этике*, о «любви» и т. д. (ибо эта сторона дела трудами других у нас обеспечена); но смею надеяться, что я и сам способен иногда к добрым движениям, и в других умею их ценить. Особенно склонен я ценить эти добрые и честные движения в нашей литературе, без нужды бранчливой, лицеприятной и предательской, в идеях доселе еще робкой, в приемах грубой и даже злой. Вы в литературе не только честны, Вы в ней добры и благородны; Вы *любите* отдать справедливость, там, где возможно, даже и тем писателям, с которыми Вы во всем почти не согласны... *ищете случая* сказать и о них доброе слово. Вы в нашу пристрастную, не тонкую, несмелую и нечестную критику вносите *нравственный* элемент. Честь и слава Вам за это.

Но мне на этот раз Ваша похвала не доставила удовольствия! Не говорю, что у меня нет авторского самолюбия; «*homo sum*» и т. д.^[25] Его, может быть, у меня и много; но могу сказать смело, что любовь моя к родине гораздо сильнее его.

Ах! Если бы кто-нибудь сказал об этой мо-

ей брошюре так:

– Основная мысль Леонтьева очень верна, но она очень дурно выражена; брошюра его очень дурно написана, и даже картина современной Европы не совсем верна в том-то и том-то. Но вопрос, затронутый им, для России в настоящее время до того важен, что я хочу взять на себя труд представить читателям его полезную и важную мысль в более доступном виде; я хочу, так сказать, «вылущить» ее для пользы общей из его бестолковой и сбивчивой стилистики. Леонтьев дальновидный и добросовестный патриот, но писатель он прескверный и темный. Я его исправлю; я спасительные мысли его очищу, освобожу от его плохой формы.

Но – увы – никто не называет меня плохим писателем, даже и ненавидящие идеи мои сознаются, что пишу я недурно; но в *толк меня берут сразу до сих пор еще* очень немногие, да и то большей частью тайком, в *частных ко мне письмах*, например.

Боюсь впасть в искушение, боюсь через меру *возгордиться* этим!

Понимаете?

Итак, ни строго охранительную политику Государя Николая Павловича, ни либеральную политику прошлого царствования никто не зовет *национальной*.

Но дух *текущих* <18>80-х годов *национальным* зовут все, и приверженцы национализма, и враги его.

И *чувствуется*, что это верно.

Почему же оно верно? Почему это *чувствуется* всеми?

Нельзя ли вникнуть в это, нельзя ли прямыми указаниями на факты оправдать еще более это верное чувство?

Оправдать его этими фактами легко; этих фактов очень много.

Уже в <18>82 году в моих «Письмах о восточных делах» я указывал на чрезвычайную важность Манифеста 29 апреля <18>81 года.

Вот что я говорил тогда.

Если сопоставить два государственных акта, одинаково для России важные, – акт 19 февраля <18>61 года и акт 29 апреля <18>81 года, – то увидим, что они дополняют друг друга.

В эмансипационном акте <18>61 года есть две стороны; одна либеральная – *освобождение* крестьян от крепостной зависимости; другая – вовсе не либеральная – *прикрепление* этих крестьян к земле. Последнюю меру надо приветствовать, как нечто вполне самобытное и национальное, имеющее вдобавок по всем признакам и будущность. С первой мерой достаточно *только мириться*, как с неизбежной данью веку, как с необходимой, хотя и скользкой, ступенью политической зрелости[7]. Эмансипация крепостных – это тот род либерального *европеизма*, о котором я говорил: «Надо знать, *где Европа неизбежна* и где нет...» Она была именно *тут* – эта неизбежная «Европа», ибо достаточно только вспомнить о том, как облегчился бы труд нигилистов наших, если бы они начали действовать на крестьян еще не свободных.

Весьма возможно, что без всех остальных реформ: без всеобщей воинской повинности, без слишком демократического строя в земстве, без суда присяжных, без чрезмерного размножения земских школ и т. д. и т. д., – можно было бы обойтись, ничуть не рискуя

подвергнуть Россию опасностям и ужасам кровавых волнений. Но без *освобождения крестьян обойтись в половине XIX века было невозможно...* Это, конечно, было весьма рискованное, но вместе с тем и спасительное привитие искусственной болезни для предотвращения несравненно более опасного естественного недуга какой-нибудь пугачевщины, – которая вдобавок, с *высшей государственной точки зрения*, страшна не столько анархическим ужасом своим, сколько теми *легальными* последствиями, которые могли из нее истечь, например, *дарованием демократической конституции*.

Несомненно, что при разрешении этого важного вопроса правительство руководилось не одним только человеколюбием (нравы помещиков и в <18>40-х годах были уже вовсе не круты), но и государственной мудростью.

Это был европеизм очень простой и либеральный и, к несчастью, неизбежный.

И не в нем *поэтому и главная заслуга* акта 19 февраля, – а во *второй* мере – наделении неотчуждаемой землей, в мере, которую ни-

как уже либеральной назвать нельзя, а надо, скорее, назвать принудительной или *государственно-социалистической*. И теперь, если взять в акте <18>61 года только эту сторону и поставить ее рядом с той решимостью сохранять неприкосновенным самодержавие, выраженной в Манифесте <18>81 года, то будет ясно, что они дополняют друг друга в смысле и стиле *национальном*.

Не либерально – самодержавие.

Не либерально – и прикрепление крестьян к земле.

Не европейского (современного) духа первое.

Не в европейском (современном) стиле и второе.

В этих двух основах кроются залогов, быть может, весьма своеобразного государственно-экономического строя. Принудительно-общинного; сословно-социалистического; основанного на ограничении права вообще отчуждать земли. И дворянская, и крестьянская земля должны стать не столько льготой, сколько *ношей* государственной.

В том же первом «Письме о восточных де-

лах» я в другом месте говорил так. <... >^{26}

Итак, первый шаг нового царствования – Манифест 29 апреля есть уже сам по себе первый шаг сознательного национализма во внутренних наших делах^{27}.

Русское православное самодержавие может стать могучим и сознательным орудием для осуществления того культурного идеала, к которому отчасти бессознательно стремится Россия; если только в обществе нашем надолго продержится преобладающее в нем теперь настроение.

Отвращение от конституционных порядков, от борьбы *организованных* по-западному партий; от всего того, что можно назвать хронической анархией, возведенной в легальный идеал, – это спасительное отвращение все более и более укореняется в нашем общественном сознании.

И укореняется оно в такое время, когда даже и Япония, недавно еще столь самобытная и таинственная, ничего не может придумать лучшего, как сразу попасть на общий либерально-европейский путь. А в государствах западных уже сама почва стала такова, что

самодержавие, *мистически оправданное* и *органически усвоенное*, на ней произрасти не может. Надо обратить внимание и на то, что на Западе к концу этого века *вид* серьезной монархии пока имеет *только одна Германия*. Но и в этой Германии парламентаризм уже глубоко въелся в кровь и плоть общества; въелся так, что и сам железный канцлер ни разу не решился посягнуть на него.

Монархизм в Германии держится не органическими потребностями общественного строя, как у нас, а лишь недавними преданиями военной славы и политического преобладания, одинаково для немцев непривычных.

К тому же монархизм в Германии *безосновен*; у него нет религиозного положения, общего для всех германцев от Тироля и Баварии до берегов Балтийского моря.

Одна политическая ошибка, одна военная неудача – и германское императорство, в принципе, уже ограниченное и безосновное, имеющее, значит, одно только практическое значение, станет немедленно властью неспособной и настолько же бессильной в делах внутренних, насколько бессильна власть ко-

ролей итальянских или испанских.

Всякому ясно, что у нас не то; у нас идея православного самодержавия кладется теперь сознательно в основу русского государственного права, и (что особенно важно) потребность положить его в основу русского государственного права усиливается у нас в такое время, когда в передовой западной мысли все глубже и глубже проявляется разочарование в тех общелиберальных идеалах, которым служила так искренно и страстно вся Европа в течение последних ста лет.

С точки зрения самобытности (т. е. культурного национализма) это совпадение сознательного утверждения у нас монархического принципа с разочарованием в демократии и либерализме на Западе потому важно, что почва западная, говорю я, сама к монархизму религиозному стала уже непригодной; и сколько ни трудись мыслью избранные умы современной Европы на этом антиравенственном пути, *жизнь* сама уже не может отвечать их требованиям. Европейские государства должны будут пережить последние *попытки* высшего и последнего уравнения —

уравнения экономического. Что за этими попытками воспоследует, понять еще нельзя; но их предвидеть нужно.

Я не хочу всем этим сказать, что в России экономическое состояние превосходно, это было бы смешно; разумеется – нет. Я напоминаю только, что наше экономическое состояние *несходно* с западным. Наши хозяйственные недуги могут быть очень сильны; но они *иного разряда*. Есть болезни, которые сопровождаются жестокими болями; но они не только не смертельны, но нередко каким-то непонятным образом предохраняют людей от заболеваний другого рода – несравненно более опасных. Таковы, например, многие чисто нервные страдания; при них люди не только живут очень долго, но еще и становятся менее здоровых восприимчивы к некоторым заразам и т. п. Недавний отказ русского правительства принять участие в международной конференции по рабочему вопросу подтверждает мою мысль.

Этот отказ есть также весьма важный образец мудрого решения не идти вперед во всем по западным путям. Это тоже живой и

яркий пример *национального сознания*. Это национализм культурный, обособляющий нас от общезападного стиля, избавляющий Россию от губительной общеевропейской солидарности.

Несомненно, что этот особый национальный оттенок в жизни хозяйственной есть плод того наделения крестьян землей со значительной долей неотчуждаемости, которое составляет высшую и главную (быть может, даже и единственную) заслугу «реформенной» эпохи нашей.

Третьим образцом культурного национализма нашей политики <18>80-х годов необходимо признать стремления правительства нашего воссоздать в новых формах *сословный строй* России.

Гр<аф> Дм<итрий> Андр<еевич> Толстой, бывший в <18>70-х годах обер-прокурором, довольно пошлым и даже весьма вредным для Церкви, как министр внутренних дел, явился истинно государственным мужем.

Не будучи ничуть славянофилом в теории, на практике он оказался *истинным славянофилом* – в смысле *не племенном*, конечно, а

культурно-государственном; в смысле все того же обособления нас от *заразы*, о которой я говорил. Он дал первый толчок к восстановлению русского *дворянства* в то время, когда даже в аристократической Англии древние привилегии лордов держатся на волоске и утрачивают с каждым годом практическое свое значение; а в других государствах Европы – все уже давно глубоко уравнено юридически. Вступление на путь сословных реформ было вызвано в России не теоретическими и подражательными предрассудками и наклонностями, как вызваны были многие либеральные реформы <18>60-х годов, а самыми настоящими, самыми грубыми, так сказать, требованиями и особенностями местной жизни.

Русский крестьянин оказался после 25-летнего опыта неспособным к «легальной» свободе; почувствовалась крайняя нужда – *закрепить его снова*, но уже *нелично* отдельным членам высшего сословия, а *целому государству* – через посредство новых властей, из среды того же старого дворянства русского, которое, что там ни говори, *есть реальная ве-*

ковая сила нашего общества, сила, созданная самой историей нашей, не во гнев будь сказано ревнителям невозвратимой допетровской старины!

Учреждение земских начальников, конечно, реформа не чисто сословная, а только полусословная, полубюрократическая. Но – что же делать. *Национальная особенность* нашего дворянства, его, так сказать, историческая оригинальность в том и состоит, что оно издавна было не столько родовой аристократией, сколько *наследственным чиновничеством*. Что же тут худого?

Герцог Морни, защищая Россию от нападков французских либералов во время польского мятежа, выразился о русском дворянстве довольно удачно: «Дворянство русское есть *дворянство демократическое*; оно доступно всякому путем заслуг и государственной службы».

Пусть так и будет: «Русское дворянство есть *наследственное чиновничество*», в среде которого, однако, находится много людей «действительно знатных старинных родов»

Смешно подумать, что некоторые славянофилы, не дерзая выйти из круга *заповеданного* учения, ропщут на эти реформы, доказывая, что у нас нет *такой* аристократии, как на Западе, и *потому* привилегированные сословия не нужны. А нужно непременно только «две избы»: «Изда воеводская» и «изба земская». «Избы же дворянской» строить нельзя; потому что у нас не было *такой* *родовой* аристократии, как в Европе.

Мало ли что! Тем лучше, что мы и в этом хоть немного самостоятельны и независимы.

К сословной реформе гр <афа> Толстого можно как нельзя лучше приложить следующие два правила.

Во-первых, то, что «народ вообще переносит охотнее привилегии высших сословий, когда эти привилегии соединены с *действительной властью*, чем привилегии без власти».

А во-вторых, то, что вообще «*не жизнь надо кроить по теории, а теорию выводить из жизни*».

Первая мысль принадлежит Токвилю; вторая – немецкому социологу Рилу в его книге

«Страна и люди» («Land und Leute»). Разумеется, что всякая теория была бы не нужна, если бы она к жизни вовсе не прилагалась. Теории («сознание») рано или поздно становятся необходимыми и для практики дел живых; ибо приходит время, когда одни эмпирические действия становятся недостаточны; но — надо тут два процесса: из жизни извлечь теорию и в жизнь же ее обратить.

Конечно, можно сказать почти наверное, что гр. Толстой и его помощники руководились больше ближайшими практическими нуждами, чем какой бы то ни было общей и глубокой социальной теорией; но *эмпиризм* их должен быть оправдан будущей теорией, по крайней мере, в следующем условном смысле:

1) «Идеал равноправный» (политический и гражданский) должен быть оставлен. Он противен государственной статике. Несовместимость его с долговечностью государств подтверждается и психологическими изысканиями (такими-то и такими-то).

2) Бессловный монархизм неустойчив. *Республики* аристократические были даже

много прочнее.

3) Итак: если окажется невозможным посредством осторожных, медленных, но настойчивых реформ восстановить в России глубокую и весьма сложную неравноправность, то государство русское не может рассчитывать не только на создание в недрах своих *нового культурного типа* (как надеялся Данилевский), но не должно надеяться даже и на долгое (вековое – 400, 500 и т. д. лет!) *отдельное от Запада политическое существование*. Весь Запад, предварительным путем – *либеральной группировки по племенам*, идет быстро ко всеобщей федеративной безосновной (атеистической) и эгалитарной республике.

Чтобы выдержать (через каких-нибудь полвека, положим) напор соединенных сил этой всеевропейской республики и не подчиниться ее началам и власти, Россия должна непременно соблюсти у себя следующие четыре условия: 1) усилить (по возможности) религиозность высшего своего общества; 2) утвердить глубокую сословную разницу (при сохранении доступности высшего слоя); 3)

уменьшить донельзя *подвижность* экономического строя; укрепить законами *недвижность* двух основных своих сословий – высшего правящего и низшего рабочего; 4) улучшить *вещественное* экономическое положение рабочего класса настолько, чтобы при неизбежном (к несчастью) дальнейшем практическом общении с Западом русский простолюдин видел бы ясно, что его государственные, сословные и общинные «цепи» гораздо удобнее для материальной жизни, чем свобода западного пролетариата.

Для этой цели нужно заранее приложить все усилия, чтобы уменьшить и тот *пауперизм*, от которого и земля сама главным (?) образом (?) одна предохранить может.

Такого рода государственное сознание будет истинно *национальным*; такого рода *неевропейская теория* будет взята действительно из жизни – и снова в жизнь обращена, как и подобает всякой хорошей и здоровой теории. Так делают и врачи-физиологи. Так случается и <на> наших глазах в медицине – с теорией микробов. Наблюдали жизнь – открыли микробов; встречаются опять с болезнью в жиз-

ни – берут меры противу действия *микробов*, хотя бы даже и посредством искусственной их прививки.

Правда, не нашелся еще в России до сих пор ни один ученый – специалист по истории или по социальным наукам, который ударил бы нас всех по головам солидным трактатом в предполагаемом мною духе.

Мы все еще идем немного ощупью и продолжаем мыслить слабо, а *делать* не глупо; но и это придет... *если России* суждено... и т. д. и т. д.

(Это «*если*» необходимо прибавлять везде, чтобы не ошибиться...)

Общей, глубокой теории *неравноправности* у нас еще нет. Смелых *гипотез* у нас не любят; или, вернее сказать, их очень любят и у нас, но только в книгах западных, а не у своих авторов; своим – не доверяют – на почве теории и гипотез. Но *жить* государственно и у нас еще хотят, и когда нужды политической жизни хватают за горло наших влиятельных и власть имеющих людей, то и у них пробуждается некоторое бледное подобие мысли, и они инстинктом *опыта* еще более, чем этой

бледной мыслью, нередко наталкиваются на
должные меры.

И в этих мерах даже и без ясного *нацио-
нального* сознания уже видна в наше время
бессознательная *наклонность к самобытно-
сти*.

А самобытность по возможности во всем и
есть та самая искомая культурная *националь-
ность*, о которой мечтал Данилевский, кото-
рой и я служу по мере сил моих и которую
страстно желаю предохранить от всяких ли-
беральных воздействий, в том числе и от воз-
действий объединенных в *общей* безосновно-
сти – и безыдейности – племен славянства...
(«Эх – вы!..» Достоевский).

VI

Я еще не кончил. Обращаясь к Вам, я хочу, конечно, чтобы и другие меня поняли лучше.

Ибо чего же я должен ожидать от многих других, если даже и Вы меня поняли не так, как я хотел; если мою защиту национальности (культурной, обособляющей) Вы сочли за нападение, за измену моему собственному прежнему идеалу.

Не знаю, читали Вы или нет в «Гражданине» (<18>88 и <18>89-х годов) мою вторую статью о том же: «*Плоды национальных движений на православном Востоке*»? Отдельно она не была издана.

Быть может, Вы на нее вознегодовали бы еще больше, чем на первую.

В статье «*Национальная политика...*» я только под конец сказал два слова о России и славянском вопросе. Заметьте, впрочем, я сказал, что с этой стороны *только на Россию есть еще надежда*; в каком же это смысле? А в том, что только в России XX века политика племенных освобождений и объединений мо-

жет, при благоприятных условиях, принять тот действительно обособляющий, культурный характер, который не удалось принять этим эмансипациям и слияниям на Западе.

Но прежде чем указать на возможные пути этого *положительного*, творческого выхода в будущем для России, для православного Востока, а пожалуй, позднее и для всеславянства, мне необходимо было выследить внимательно, как действовал *до сих пор политический национализм на культурно-национальную физиогномию* этого православного Востока в XIX веке. И при выслеживании этом, с одной стороны, было ясно, что он и на Востоке действовал до сих пор точно так же, как и на Западе, т. е. влиял и *тут разрушительно* на эту физиогномию.

Для меня самого эта сторона дела, конечно, была не нова; я стал понимать это уже в самом начале <18>70-х годов, когда еще был консулом в греческих и славянских землях; но в такой параллели с историей Запада в нашем истекающем веке я еще ни разу этого не излагал. И, излагая нечто давно мне известное и понятное в форме новой и более связ-

ной, я и сам себя поучал, еще более против прежнего утверждаясь в основательности моих опасений.

Меня не мог уже удивить тот неотразимый *факт*, что в XIX веке национализм политический вреден национализму культурному. Это по-прежнему меня огорчало, но не могло, говорю, удивить меня. Но меня удивило и даже ужаснуло нечто иное и даже большее.

Следя за национальными движениями на Востоке, я неожиданно для самого себя понял, что не одни национальные *движения* народов и не одна *племенная* политика правительств служили космополитизму *жизни* (всеравняющей революции) в XIX <веке> волей и неволей, преднамеренно и нечаянно. Я понял, что этому космополитизму или этой революции в XIX веке на Востоке так же, как и на Западе, служило *все*. Все консервативные начала невольно и косвенно служили торжеству этой революции.

Оказалось, например, что главным инициатором тех *племенных* эмансипаций, которые вредили *национальным физиогномиям*, был не Наполеон III, а охранитель из охраните-

лей, наш незабвенный и великий государь Николай I. Ибо все согласны, что греческое восстание <18>21 года надо считать национальным; Николай Павлович тверже и бескорыстнее всех поддержал его. И этим *неожиданно* поспособствовал ослаблению национальных особенностей в свободной Элладе.

(Я здесь не могу повторить все то, что в статье «Плоды и т. д.»^[29] развито подробно.)

Оказалось также, что восточная война <18>53 – <18>56 годов повлекла за собою и некоторого рода демократизацию и России, и Турции. Война эта начата была нами уже все не из-за *независимости* христиан от турок, а из-за *преобладания* России над Турцией, т. е. из-за принципа государственного и по побуждению более *нормальному* в политике, чем гуманитарная ложь племенной эмансипации[8]. И несмотря на нормальность, консервативность и государственность этой войны, последствия неожиданно вышли и для России, и для Турции *антигосударственными*; только в различной мере: для России в меньшей, в *поправимой*, быть может; для Турции в непоправимой.

Вот как я там говорил.

В этом смысле я уверен, что и Вы признаете меня гораздо более достойным последователем Данилевского, чем г-на Страхова, который *продолжить* его учения не может и который при всем добром желании своем очень слабо защищает его от нападок Соловьева именно потому, что у него по *этой части* нет и тени ничего *своего*. Он только благоговеющий ученик и панегирист «России и Европы» но не продолжатель. За это ему спасибо... и только. (Suum cuique^{30}.)

Примечания

1

Это не *шуточное* словечко – «идос» – сорвалось у меня почти нечаянно. Ужаснувшись, однако, тотчас же моей дерзости, я стал искать у себя надежного источника для проверки и нашел его в книге еп<ископа> Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». (На страницах 119–126 2-го тома.) Оказалось, что я имею право в данном случае употребить это слово. Значит, я могу быть виноват разве в том, что еп<ископа> Никанора не так понял.

[^^^]

2

Такого мнения была, например, весьма дельная, хотя нередко и вовсе невпопад оппозиционная газета «Земский обзор» (1883, 1885 годов).

[^^^]

3

Чтобы сразу яснее понять огромную разницу между этим последним определением и предыдущим, я предложу вообразить следующие две полуфантастические картины из русской жизни. В России религиозное движение все усиливается, и в умах, и в политике, вследствие этого в среде русских граждан является очень много православных *немцев*, православных татар, православных поляков, искренно православных евреев. Или: религиозное движение слабеет, а *племенные* стремления усиливаются, под давлением обстоятельств умножается у нас число *инородцев*, по-русски знающих прекрасно, России пре-

данных, к нашим *общеевропейским* (будто бы русским) учреждениям привычных, везде такие русские *протестанты*, русские *израильтяне*, русские *католики*, русские *мусульмане*? Я думаю, разница будет большая?

[^^^]

4

Да и прочих произведений...

[^^^]

5

Мое возражение Аксакову на эту постановку вопроса. *Мало ли что* там народ и т. д. Не в русском *народе* центр тяжести – а в Православии самом.

[^^^]

6

См. его брошюру «Грядущее рабство».

[^^^]

7

Зрелость есть приближение к устарелости. Что значит *зрелость*? Безбоязненно говоря, это значит *приближение к старости и смерти*.

[^^^]

Ложь троякая; ложь, во-первых, потому, что и Наполеон III, освобождая Италию, искал все-таки этим новым религиозным союзником усилить Францию; и мы, воюя за болгар, в <18>70-х годах, имели в виду все-таки усилить и себя на Востоке. Ложь еще потому, что самообман; не усиливаемся. Ложь именно и потому, что ничего *истинно* национального из этих эмансипации не выходит.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Над данной статьей К. Н. Леонтьев работал с марта 1890 г., после того как он ознакомился со статьей Петра Евгеньевича Астафьева (см.: *Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. № 3*), в которой имеется один абзац, критически направленный против брошюры К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции». Потом К. Н. Леонтьев ознакомился с астафьевской статьей в № 177 в «Московских ведомостях» (29 июня 1890 г.), которая, в свою очередь, стала ответом на статью К. Н. Леонтьева в «Гражданине». (1890. № 144, 147), и осознал невозможность полемизировать непосредственно с П. Е. Астафьевым. В статье «Кто правее?» он обратился к Вл. С. Соловьеву как к третейскому судье этого спора.

[^^^]

2

Начало отсутствует. Рукопись статьи начинается с с. 5.

[^^^]

3

Sapiens (*лат.*) – ученый.

[^^^]

4

Pendant (*франц.*) – дополнение.

[^^^]

5

Так называется глава 6 статьи Вл. С. Соловьева «Великий спор и христианская политика» (1882–1883). См.: *Соловьев Вл. С. Великий спор и христианская политика // Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философская публицистика.* М., 1989. С. 59–167.

[^^^]

6

Это выражение «национальная политика» использовано К. Н. Леонтьевым в названии его статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции».

[^^^]

7

Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886.

[^^^]

8

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Гл. X.

[^^^]

9

Греки, болгары, сербы и румыны.

[^^^]

10

Цитируется письмо И. С Аксакова к В. Ф. Пущиковичу от 25 июня 1876 г., опубликованное в «Московском сборнике» (М., 1887. С. 41).

[^^^]

11

От немцев и католических священников.

[^^^]

12

В феврале и марте 1885 г. П. Е. Астафьев прочел по две публичные лекции, в которых закон («гипотеза») органического развития К. Н. Леонтьева была упомянута и высоко оценена. В брошюре «Симптомы и причины современного настроения (наше техническое богатство и наша духовная нищета). Две публичные лекции, читанные в Москве 13 и 19 февраля 1885 г.» (М., 1885) П. Е. Астафьев утверждал, что «...в смешении всех форм человеческого

общежития и уравниении их до полной безразличности, – в смешении и уравниении характеров, стилей и вкусов, «племен, наречий, состояний», – один из наших талантливых писателей, К. Н. Леонтьев, указывал (в статье «Византизм и славянство») главный характеристичный симптом начала *разложения* старых обществ, *вымирания* культур, народов и государств. Он сам в обрисованных им формах смешения видит лишь *симптом*, но не причину этого вымирания, признавая, что *причины* должна указать психология, а не история...» (С. 82). В другой брошюре «Смысл истории и идеалы прогресса. Две публичные лекции, читанные в Москве 15 и 17 марта 1885 года» (М., 1886) в подстрочной сноске П. Е. Астафьев отмечал: «Наиболее ярко и картинно, хотя и без всякого философского обоснования, выразил из известных нам русских писателей эту противоположность идей развития и прогресса К. Н. Леонтьев в последних главах своей замечательной, несмотря на все ее парадоксы, недоумения, недомолвки, самопротиворечия и ненужные резкости, книги «Ви-зантизм и славянство». Автор этой книги,

сходясь в определении самого процесса развития (как усложнения, дифференциации и т. п.) со всеми теоретиками *развития* (как, например, Г. Спенсер), становится совершенно оригинальным, показывая *противоположность* этому развитию *прогресса* (эгалитарно-либерального, утилитарного, космополитического etc.), который, однако, самим же процессом развития в известный момент человеческой жизни вызывается, полагая *конец* дальнейшему развитию и – начало *разложению*, общественной и культурной смерти. Как бы ни были недостатки в выражении и развитии этой мысли в книге «Византизм и славянство», сама мысль настолько оригинальна и глубока, что нельзя не пожалеть о том, что эта замечательная книга у нас так мало известна» (С. 22–23).

[^^^]

13

Mea culpa! Mea culpa! (*лат.*) – Моя вина! Моя вина!

[^^^]

14

Отказываемся потому, что постановления Берлинской международной конференции (март 1890 г.) по вопросу о создании единого рабочего законодательства для западноевропейских стран не были обязательными для ее участников.

[^^^]

15

Восстание в Польше в 1863 г.

[^^^]

16

Pis-aller (*франц.*) – опора.

[^^^]

17

Проект Н. П. Игнатьева, работавшего над упрочением позиций России на Балканах, обсуждался в сербских и болгарских политических кругах.

[^^^]

18

Восстания христиан в Боснии, Герцеговине, Сербии и Черногории, приведшие к русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

[^^^]

19

В царствование Александра III.

[^^^]

20

Князь Милан после войны 1877–1878 гг. занял проавстрийские позиции. В 1881 г. он тайно заключил с Веной конвенцию, по которой Сербия фактически лишилась государственного суверенитета. Ради поддержки пошатнувшегося в стране авторитета Милан начал войну против Болгарии (1885–1886), а после ее поражения в стране усилилось влияние радикальной партии, ориентированной на Россию. Зимой 1889 г. Милан вынужден был от-

речься от трона в пользу своего несовершеннолетнего сына Александра.

[^^^]

21

Болгарский князь Александр Баттенберг в 1879 г. был выдвинут русской дипломатией на болгарский престол; в 1881 г. совершил государственный переворот, отменив действие Тырновской конституции 1879 г.; пытался превратить Болгарию в оплот австро-германского влияния на Балканах. Летом 1886 г. был арестован болгарскими офицерами-русофилами, которые заставили его отречься от престола и покинуть Болгарию.

[^^^]

Filioque (лат.) – и (от) Сына.

[^^^]

«Представления «о царстве Божиим на земле», земной «организации правды Божией», считал П. Е. Астафьев, не русские представления, а западные, романо-германские, родившиеся из причудливого смешения христианского идеала с идеалом *единой всемирной империи*». Для русского же религиозного сознания «действительная задача христианской религии – отнюдь не задача какой бы то ни было организации земной жизни, хотя бы и наглядно *символизирующей* «богочеловечество», но задача – спасения души, и спасения не на земле и не для земли». См.: Русское обозрение. 1890. № 3. С. 291.

[^^^]

Вл. С. Соловьев в статье «Любовь к народу и русский народный идеал (открытое письмо к И. С. Аксакову)» писал: «В истинно *народном* нет ничего *нарочного*, иначе вместо *народности* окажется только *народничанье*. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальничаньем: первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное». См.: Соловьев Вл. С. Любовь к народу и русский народный идеал // Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 300–301.

[^^^]

25

«Ното sum» и т. д. (лат.) – «Я человек...». Полностью это латинское выражение звучит так: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

[^^^]

26

«А мы можем, если захотим!.. Мы уже и доказали это недавно и нашей последней войной и, что еще гораздо важнее, мы доказали это в области политической мысли Манифестом 29 апреля 1881 г. Перед лицом всей конституционной Европы и всей республиканской Америки мы объявили, что не намерены больше жить чужим умом и приложим все старания, чтоб у нас самодержавие было крепко и грозно и чтоб о «конституции» и помину бы больше не было». Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза

[^^^]

27

Речь идет о манифесте «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России», с публикации которого фактически началась политика конрреформ царствования императора Александра III.

[^^^]

Та же мысль, что и у Морни встречается 25 лет спустя и у Николая Петровича Аксакова: «У нас не было настоящего дворянства. Что такое русское дворянство? Оно больше ничего, как *наследственное чиновничество*». См.: Русское дело. 1889. № 6.

[^^^]

См. в настоящем издании статью «Плоды национальных движений на православном Востоке», особенно гл. III–V.

[^^^]

Suum cuique (*лат.*) – каждому свое.

[^^^]

[^^^]